

ЮЛИИ МАРГОЛИН

ЕВРЕЙСКАЯ ПОВЕСТЬ

Издательство „МААЯН“, Тель-Авив

ЕВРЕЙСКАЯ
ПОВЕСТЬ

МААЯН

Ю Л И Й М А Р Г О Л И Н

ЕВРЕЙСКАЯ ПОВЕСТЬ

Издательство „МААЯН“, Тель-Авив

Обложка: С. Грундман

נדפס בישראל

Copyright 1980 by the author

Типография Бен-Хур,
Рхов Ахалуцим, № 19. Тел-Авив. Тел. 83748.
דפוס א. בן־חור, תל־אביב, רחוב החלוצים 19, טל. 83748

О Г Л А В Л Е Н И Е

Гундар Авиэль	1
Детство Сролика	12
Сролик становится националистом .	23
Виленский Бетар	35
Сролику восемнадцать лет	46
Мейшагола	69
Обет	69
Сролик и царица Эстэр	75
Что делать?	89
Алия - Бет	90
Между Бетаром и Иргуном	104
Исход из Польши	121
В дороге	131
Мерсина	140
Израиль	149
„Рак Ках“	162
Семья боевая	171
Рим	180
Арест	188
Сальто - витале	195
Еврейская повесть	205

Глава первая

ГУНДАР АВИЭЛЬ

Дождь шел двое суток с короткими перерывами.

В паузах солнце прорывалось сквозь громады облаков, светило влажно и хмуро, и земля отдыхала, как крепость в осаде в промежутке между одним и другим штурмом. Дороги были залиты, тропинки обращены в болото, по оврагам неслись бурные потоки. Ветер гнал облака, громоздил тучи на тучи, и снова ливень хлестал землю, затягивая сеткой горизонт. Водяные полосы сливались в сплошную стену, молнии чертили по ней зигзаги, и гром откликался то далеким ворчаньем, то сухим оглушающим треском, точно небо разорвалось по шву, в самой середине, и в образовавшуюся трещину хлынули воды потопа.

И снова часами шел дождь, монотонно и мерно, и ухо не могло различить в этом шуме — самом коллективном из всех шумов мира — ни одного из мириад биений, из которых состоит сцепленная сила бесчисленных капель. Дождь шел на землю и шел на море, дождь валился на крыши домов, на камни и скалы, на деревья лесов и пардесов, на мокрые спины лошадей и на вереницу автомобилей, которая где-то между Сихроном и Хайфой попевала по лужам в бледном рассвете, брызгая во все стороны.

В это время, в конце января, дождь — нормальное явление в Израиле. Здесь дождь значит зиму и холод, скучное, неприветливое время года. Когда снег лежит белой яеленой на Балканах, и люди мерзнут в

Париже, туманы и льды гроздятся в Британии, леса в инее, дым валит из труб, люди одеваются в меха, — тогда наступает на Средиземном море время непогоды. Пароход идет, тяжело креня, треща всеми старыми планками и перегородками, волны вздымаются над ним, бьют о борт, заливают палубу. В каютах наглухо завинчены иллюминаторы, дети плачут, пассажиры больны. Небо на рассвете, как низкий потолок, висит над вспененным морем. Косой дождь хлещет палубу, и, когда он успокаивается, на горизонте встает серая тень, подобная облаку. Силуэт растет, приближается, и вот уже реют навстречу первые чайки. Полет их тяжкий, низкий, точно тела их налиты водой. Над заливом моросит усталый дождик. Вода сверху, вода снизу. Капает, булькает, струится, льется, стекает, шипит нагретый пар, хрипло кричит сирена.

В седьмом часу утра „Немба“ пристает к дебаркадеру. За нею волны открытого моря бьют о мол. Перед нею белой пеной на склонах Кармеля раскинулся амфитеатр Хайфы. У входа в порт выстроилась за пропусками очередь встречающих. „Немба“ пришвартовалась между итальянским и британским пароходами, у бортов ее толпятся пассажиры, ожидая своей очереди спуска.

На дебаркадере необычное движение.

Группа людей человек в двадцать привлекает всеобщее внимание. Многие узнают их, портовые рабочие подходят ближе, заглядывают в лица. Пять лет прошло со дня основания государства, но все еще витает над ними ореол романтической дерзости: „террористы“, люди Иргуна. Вот этот — Бегин, а высокий блондин — Меридор, а эта маленькая женщина с энергичным волевым лицом — Эстер Разиэль. Вокруг них атмосфера сдержанного любопытства и осторожного уважения. Что ни говори, — это были люди дела, люди действия, сказочной смелости. Люди Иргуна встречают кого-то из своих, в полном составе. А на „Нембе“ и не знали, что едет важный пассажир. Он хорошо законспириро-

вался. Ни разу не было его в числе приглашенных к столу капитана. Имени его не было в списке едущих. За все шесть дней пути не показался на людях.

Моросит дождик — на зонтики, капюшоны и черную маслянистую воду.

По трапу поднимаются гуськом встречающие. Первым идет человек небольшого роста, худой брюнет, в черном пальто, черной шляпе. Группа останавливается вокруг открытого люка, ведущего в трюм. Движения людей точны и отчетливы: можно сказать, что они рассчитаны, как на военном смотре. То, что они делают — церемония, не первая этого рода. Под зимним дождем или палящим солнцем лета — всегда один торжественный обряд, как велит г а д а р, как постановлено партией.

Скрипит лебедка, и вот, подхваченный железным крюком, подымается из чрева корабля массивный, деревом обшитый груз.

Все глаза устремлены на него.

Свинцовый ящик спущен на землю Родины. Теперь салютуют ему рядом стоящие суда в порту: опущены британский и итальянский флаги. Салютует и полиция в порту. Это вежливость, оказываемая мертвым, после того, как были сведены счета с живыми. Ящик покрывается национальным флагом, и теперь очередь за людьми в беретах и шляпах, за делегациями с венками и цветами. Рабочие в порту прерывают работу. Две минуты молчания. Дождь становится проливным. Гроб поднимают на грузовик, и траурный катафалк медленно движется к выходу из порта. За ним пешком идут люди. Их число растет, теперь это густая толпа.

Отсюда начинается торжественный кортеж. — Нет сомнения, что эти люди умеют хоронить, любят хоронить и привыкли воздавать честь мертвым. Похороны организованы опытной рукой. Газеты напишут: „таких

похорон не видела страна уже давно“. Гроб прибыл издалека, шесть лет он лежал в земле Италии. Правильнее сказать, что это не похороны, а возвращение и встреча.

И гроб начинает свое странствие по стране, как в те времена, когда арбу со Скинией Завета везли воли из Шило в горний Иерусалим, и люди из деревень выходили навстречу с трепетом и верой. Времена изменились. Вместо Бога живого везут по дорогам Израиля гроб: один из тех гробов, на которых утверждается вера нашего времени.

Под проливным дождем процессия машин минует старинную крепость турецких времен, Шуни. Это — форт, с потемнелыми стенами, бойницами, четырехугольным двором и погребам римских времен. Во дни британского мандата здесь сидели люди Иргуна, учились стрелять и проходили военную подготовку. Окрестность вокруг Шуни была усеяна выстреленными гильзами. Голодно и холодно было в Шуни, и ничего не вышло из попыток создать здесь хозяйство. Но Шуни — старое бетаровское гнездо. Здесь жили и еще живут товарищи и питомцы покойного, его братья и дети по духу. И люди выходят из ворот навстречу гробу на дорогу. Липнет красная глина к тяжелой обуви, тяжело ступают ноги по размокшей земле.

У въезда в Нахлат-Жаботинский провожающие выходят из машин и пешком вступают в селение. Здесь первый привал на ночь — в большой зале с голыми стенами.

В сумерки зажигают над ним бледный электрический свет. В открытую с улицы дверь без конца входят — поклониться покойнику. Молодежь несет почетный караул: ноги врозь, руки за спину, застыв, как изваяние. На бетонном полу следы от деревенских сапог. На голый, побеленной стене — портрет Жаботинского смотрит вбок. У девушки в синей блузе из-под пилотки

выбились на шею густые кудри. Так проходит первая ночь на родине. И дождь мерно шумит всю ночь за непритворенной дверью с улицы.

На второй день с утра переводят гроб в Петах-Тикву, за пятьдесят километров. В полдень прибывают к зданию школы Пика. Здесь все готово для торжественного приема. Площадь перед белым фронтоном полна народу. Учителя во главе с директором выстроились у центрального входа в крытой галлерее нижнего этажа. Между двух колонн они стоят как в ложе. Через парапет переброшено знамя, и на нем — портрет в траурной рамке. Начинаются речи, много официальных и приличных случаю слов. — „Он был хорошим товарищем“ и „каждый видел в нем приятеля-друга, всегда готового прийти на помощь“. — „Прекрасный работник. Он был нашим библиотекарем, как в учительской библиотеке, так и в школьной“. — Представитель учащихся произносит слово, с большим чувством, о воспитателе, которого они любили, не зная о нем главного секрета его жизни. Теперь они этот секрет знают, — и тактично обходят его, ибо для них он был только учителем — без политики.

В два часа дня кортеж прибывает в Тель-Авив. Какая метаморфоза! Нет больше инструктора из Шуни, скромного бетаровца из деревни Нахлат-Жаботинский, библиотекаря из гимназии Пика. Сегодня каждый человек в Тель-Авиве знает о великом событии: он как триумфатор, вступает в город. Улицы залеплены плакатами. Стены кричат. **Гундар Авиэль! Офицер главного штаба! При исполнении возложенной миссии пал, неся весть о восстании рассеянными общинами Израиля! Гундар Авиэль! Против британского угнетения! Гундар Авиэль! Вечная слава! Гундар! Авиэль! Национальное движение! Салютует! Салютует!! Салютует!!!**

Гундар Авиэль вернулся в город, по улицам которого при жизни ходил неузнанный. Немалый триумф уготован ему.



„Стены кричат...“



„Толпа все прибывает...“

В центре города Центральный Дом Партии убран траурными знаменами. В большом зале выставлено его тело для последнего прощания — на 24 часа. Зажгли огромные свечи, покрыли гроб пеленами, осенили знаменами, засыпали цветами и венками, лентами и зеленью. Стоят у гроба, руки по швам, его товарищи и лучшие люди, с каменной серьезностью, потупив глаза в застланный ковром пол. Над гробом торжественная надпись, — у подножия зажженный семисвечник, зубчатые щиты, гербы и пальмы.

Бесконечной вереницей идут люди, обходят гроб на возвышении, и многие не уходят потом, а садятся на стулья вдоль стены и проводят часы в созерцании, беседе шепотом и долгим молчании. Молчать перед лицом смерти: все, что остается, когда исчерпаны слова печали и утешения.

Часы идут. Наступает третье, последнее утро. Окна открыты настежь, и с улицы доносится обычный шум: гудят автобусы, кричат газетчики. Люди стекаются к подъезду здания, подъезжают автомобили, является полиция. Собираются любопытные: „Что здесь происходит?“ Из уст в уста передается: **Гундар Авиэль**... Толпа прибывает. Тут, очевидно, предстоит мощная демонстрация большого политического движения.

Гундар Авиэль занимает в ней сегодня центральное место. Он вынесен и поднят в высоту, он свидетель величия движения, которому отдал жизнь, которое питается этой жертвой и нуждается в ней. Гроб его покрыт цветами и венками, теперь его покроют словами, речами и лозунгами. Таков обычай в Израиле, и так принято во всем мире: чем больше говорят, и чем дольше говорят, и чем лучше говорят, тем выше честь. Честь, оказанная погибшему, — это честь, оказанная самой Партии. Они воздают честь самим себе, и почему бы нет? Она положена им. Хоронят одного, чтобы жили все остальные.

Толпа все прибывает, напирает, наплывает, складывается в сплошную массу. Ей не видно конца. По окончании речей — трогается торжественная процессия. Это та самая, которая началась у ворот хайфского порта. Теперь она выросла в полную величину, и есть на что посмотреть.

Впереди едут конные, полицейский наряд.

Следует шествие многих десятков венков, от всех институций и отделов партии.

Потом, согласно плану и в полном порядке: ближайшие родные и друзья покойного.

Потом избранники народа — члены парламентской фракции партии, и боевые товарищи покойного.

Потом много-много делегаций от комитетов и подкомитетов, дирекций, союзов, комиссий, обществ, организаций, объединений, от женщин, от молодежи, от ветеранов, от инвалидов, от коллег и просто земляков.

Идут в мундирах хаки и темносиних мундирах. Маршируют, выбрасывая ноги, плетутся вразброд. На многих лицах неподдельная скорбь. Идут слитной волной, — но разве можно привести в движение тысячи народу, чтобы не пробились в них сила жизни и радость существования, хотя бы в соседстве гроба?

За делегациями и колоннами в марше хлынуло сплошное человеческое море, включая и тех, кто спрашивал: „Кто это, кого хоронят?“ и потом набожно накрывал голову и вытягивал шею, чтобы лучше видеть. Это был народ Израиля, стадо господне, без политики и патетики. В первых рядах мальчишки в коротких штанишках, руки в карманах и в беретиках на ухо, девчонки с пальцем во рту, детвора, которая всегда пролезет между ногами взрослых... и взрослые всех возрастов, бородатые, бритые, с портфелями и зонтиками под мышкой, или просто без дела, сложив руки на



„Хлынуло человеческое море...“



...Проводят часы в созерцании, беседе шопотом и долгом молчании.“

животе, вечные попутчики или прохожие, задержавшиеся на полчаса. — „Да, вот это был человек, Гундар Авиэль! Вы слышали о нем?“ — „Конечно, как не слышать! Очень известное имя...“ А в хвосте велись совсем уже обыденные разговоры, и улица постепенно возвращалась к своей нормальной жизни.

Тем временем за гробом шла мать — старуха с погасшим и мертвенным лицом, в платке и огромных очках, с двух сторон поддерживаемая под руки — и для нее одной не было никакого Гундара Авиэля, а был маленький мальчик, ее мальчик, который так скоро вырос и погиб, по имени Сролик.

Поздно кончились похороны на загородном кладбище. Толпа разъехалась, рассеялась так же быстро, как набежала, — и вечер сошел на кладбище Нахлат-Ицхак. Тени наклонились над грудой снесенных венков. Пусто стало на кладбище. Безлюдно, холодно и сыро. Дождь переждал всех и остался один в ночной тишине.

Часами шел дождь и шептал, бормотал, как старый еврей, „эль моле рахамим“ — „Бог, полный милосердия“ — шумел однообразно и монотонно по листьям, по аллеям и надгробным плитам. Потом расширился дождь, на всю окрестность, на поля и сады, на горы, на всю страну и море в черной мгле. Возобновился ливень, яростный и гневный. Окрестность вздохнула, и где-то разразился гром. Небо осветилось, и снова повторился гром — ближе, совсем близко над оставленной могилой. Где-то побежали ручьи, ливень превращался в потоп, заливая низины, переулки, погреба в предместьях Тель-Авива. Потоки дождя залили груды венков и цветов на свежей могиле, размывали буквы на лентах венков. От имени Неба последнее слово взял дождь... но трудно было понять, что он хотел сказать, о чем держал свою речь. Кто разберет речи дождя, долгие ночные речи, всхлип ветра, голоса во мраке, эхо издалека, плач и завывание призраков, блуждающих в просторах полей?..

Так был похоронен Гундар Авиэль 27 января 1953 года, — похоронен в третий раз, после первого временного предания земле в городе Риме и второго — в городе Милане. Дождь встретил его на родине, и дождь проводил его в могилу. А теперь предстоит нам поднять занавес дождя и посмотреть, что за ним.

Подымем занавесу дождя и расскажем — не о великом герое, вокруг имени которого ткется легенда, а о бедном и простом еврейском мальчике, каких были тысячи, по имени Сролик, об одном из многих, кому судила судьба жить с нами в страшные времена войны и погрома.

Г л а в а в т о р а я

Д Е Т С Т В О С Р О Л И К А

Место рождения Сролика — в „черте оседлости“ Восточной Европы, в одном из центров великого еврейского рассеяния. Важно место рождения; важна семья, социальное положение и наследственность, вместе определяющие путь, по которому будет развиваться молодая жизнь. Но прежде всего важна дата: 25 июля 1914 г.

Если бы можно было составить полный список еврейских детей, родившихся в этот день, или один из других дней того же года, в Восточной Европе, и проследить их дальнейшую судьбу, мы увидели бы, что все это поколение родилось под кровавой звездой, под знаком насильственной смерти. Очень немногим из рожденных в то время суждено было пережить страшные годы катастрофы, равной которой не знает еврейская история. Не составляет исключения и Сролик. Безвременно оборвалась его молодая жизнь, — несмотря на то, что он лучше многих других понимал знамения судьбы и умел с ней бороться.

1914 год — год переломный. Летом этого года кончилась эпоха, о которой мы теперь вспоминаем, как о времени сравнительного мира и благополучия, устойчивых традиций и веры в прогресс. Кончился 19 век. Вплоть до 1914 года еще действует сила иллюзий, завещанных прошлым, блестящим временем расцвета Европы. Казалось тогда, что империи — царская и немецкая, австрийская и британская — стоят прочно и будут стоять до скончания веков. Казалось, что мо-

ральные устои 19 века незыблемы. Только и оставалось детям и внукам, что владеть наследством отцов и развивать его дальше. Казалось...

С 1914 года начинается крушение иллюзий, крушение традиций и построенного на них быта. Вместе с ними пришел к концу и тот гармонический и цельный уклад еврейской жизни, который нашел свое отражение в творчестве великих еврейских писателей конца века — Шалом Алейхема и И. Л. Переца. Наступает великий обвал. Время крушения иллюзий наступает не только для евреев Восточной Европы, но и для западно-европейских их братьев — в Вене, Берлине, Париже — которым казалось, что они прочно вошли в жизнь окружающих народов. В крови и огне кончается 19 век и рождается век 20-й — век мировых войн и революционных перемен, варварской жестокости и невиданного избиения слабых. — И кто еще так слаб, как еврейский народ на чужбине?

Летом 1914 года началась первая из мировых войн столетия. О тех, кто в это лето родился, можно сказать, что они явились в „первый день потопа“. Библейский потоп продолжался сорок дней и ночей. Наш потоп продолжается уже свыше 40 лет, и еще не видно ему конца. Первая мировая война породила коммунизм. Коммунизм, как верное эхо, вызвал к жизни фашизм и гитлеризм. Гитлер развязал вторую мировую войну. Вторая мировая война развязала революцию в Азии. Пожар перебросился с Дальнего на Средний Восток и охватил северное побережье Африки. Ныне находится мир в смертельной тени атомных вооружений и новой, невиданной техники человекоистребления. Миллионы погибают в концентрационных замкнутых лагерях „принудительного труда“. Еще никогда не находилось человечество в такой опасности, не жило в такой тревоге за завтрашний день.

И среди всех народов мира — ни одному не угрожает такой непосредственной и страшной опасности,

как еврейскому. Еврей, который этого не понимает, не чувствует инстинктом и всем опытом старой расы, что волны потопа каждую минуту готовы настичь его — слепое и глухое, жалкое существо. В громах и огнях, в чудовищных корчах народов начинается 20-ый век. Одной из первых книг, прочитанных Сроликом в детстве, была „Хижина Дяди Тома“ — американская повесть из эпохи рабовладения в Соединенных Штатах. Из этой книги запомнилась ему картинка. — Женщина переходит реку по льду с ребенком на руках. Лед тронулся: льдины несутся, сталкиваются, разбиваются на части. Эта река — граница между рабовладельческим штатом Юга и северным штатом, где негры освобождены. За женщиной погоня — она рабыня, беглянка. — А по другую сторону реки — свобода. В отчаянии она решилась на переход по льду, который трещит и ломается под ее ногами. Она перепрыгивает со льдины на льдину, прижимая к груди ребенка... Эту картинку Сролик запомнил на всю жизнь Эта женщина с темным прекрасным лицом, рискующая жизнью, чтобы спасти своего ребенка от неволи, — этот безумно-смелый переход по льдинам, несущимся в водовороте, на глазах зверей в образе человеческом, остановившихся на берегу, — здесь была показана ребенку тайна его жизни и его времени Кто эта женщина, и кто этот ребенок? Кто те жестокие враги, от которых надо спасать самое дорогое в жизни — свободу? — Он этого не знал, но со временем жизнь помогла ему найти ясный и определенный ответ.

Ибо 20-ый век весь — есть век великого ледохода. Трещит и тает под ногами то, что вчера еще казалось твердым грунтом. Остаться на месте нельзя, надо идти вперед, — но куда? Народы приходят в движение, миллионные массы пробуждаются для действия. Какое их первое действие? — война. 20-ый век — век массовых аффектов. Какой первый из них? — ненависть. Между континентами, народами и классами — ненависть.

Столетиями накапливавшаяся ненависть прорывается наружу, когда массы выходят из оцепенения. Ненависть в России приведет к гражданской войне и небывалому террору. Ненависть в Германии приведет к гитлеризму. Громятся горы ненависти, и между ними те, кто в истории всегда был жертвой: народ Израиля. И это знает маленький Сролик так непосредственно и живо, как знает каждый ребенок по опыту, что огонь жжет, а нож колет. Ибо первое, что он запомнил в жизни — было бегство от врага и преследование по приказу власти.

Мудрецы в наше время учат, что страх — страх перед жизнью — лежит в основе невроза, и надо от него лечиться, чтобы быть здоровым. Эти мудрецы знают только половину правды. Бывают эпохи и положения, когда страх перед жизнью оправдан, и именно отсутствие этого страха должно быть признано ненормальным явлением. В эпоху, когда Сролик пришел на свет, и в условиях, в каких находится его народ, и в местах, где он провел свое детство, страх возникал как нормальная реакция нормального сознания. В людях с больными нервами и слабым характером страх выражался в болезненных формах. В людях же морально и интеллектуально здоровых он воспитывал особую чуткость и настороженность, воспитывал волю и сознание ответственности. Он также воспитывал и дисциплинированность и спаянность, ибо сознание общей опасности заставляет людей сближаться и искать спасения в солидарном действии.

Сролик родился в Вильне. Ему еще не было полутора лет, когда по приказу царской власти, после первых поражений царской армии в войне с немцами, еврейское население было выселено из прифронтовой полосы вглубь России. Таким образом, первое впечатление его жизни было — беженство. Конотоп, маленький украинский городок, где семья Сролика провела беженские годы, был чужбиной вдвойне. О жизни в этой

украинской глуши не сохранилось свидетельств, но ясно, что это было временное сидение, с тоской по старому, насиженному месту, с неустроенностью среди чужих, — и как бы ни был мал ребенок, настроение старших передавалось ему.

Сролику было три года, когда разразилась октябрьская революция, и восемь лет, когда семья вернулась в Вильну. Время между 1917 и 22 годами, проведенное на Украине, было страшным временем гражданской войны, развала старого порядка и частой смены властей. Город переходил из рук в руки, хозяйничали в нем попеременно немцы и петлюровцы, деникинцы и большевики. Кровавые еврейские погромы на Украине далеко превзошли все несчастья царской войны. Более кровавой поры не знала история еврейского народа со времен Богдана Хмельницкого и до самого пришествия Гитлера. Число жертв погромов оценивают в двести тысяч, и другие сотни тысяч погибли от массовых эпидемий и голода.

Конец гражданской войны не принес облегчения: тогда на смену истреблению мечом пришел голод и мор. Летом 1922 года исчез хлеб на Украине. Крестьяне стали резать скот, который им нечем было кормить. На базаре в Конотопе дешево стало мясо, но хлеба к нему нельзя было достать. Сролик не знал, что это изобилие мяса при отсутствии хлеба означает приближение самого страшного голода. В следующем 1923 году умерли в советской стране миллионы людей. Но в это время Сролик уже находился по ту сторону границы голода — в Вильне.

Восьмилетний мальчик увидел, что там, где нет красных знамен революции, есть много белого хлеба, и много дров, чтобы топить печи, и много товаров в лавках, где торгуют евреи. Но он также увидел, как на виленской улице польский солдат бил по щекам старика-еврея, — и понял, что и по ту сторону границы

нет для детей его народа безопасности, нет родины и нет свободы.

ВИЛЬНА, Иерусалим Севера, город, воспетый поэтами и прославленный в истории четырех народов! Здесь не только стояла колыбель Сролика, не только он провел в ней половину своей короткой жизни — 16 лет из 32-х, но здесь он созрел и сложился, и весь проникся духом этого древнего и чудесного города. Вильна образует фон всей его бурной и мятежной юности.

Что такое Вильна? — Попробуем взглянуть на нее глазами подрастающего мальчика, которые уже много видели и научились смотреть вдумчиво и пытливо. Со временем потемнеет его взгляд, станет тверже и замкнутее в себе, но в те годы он широко открыт для жизни, для ее загадок и чудес. Глаза смотрят с наивным удивлением и сердечной теплотой.

Среди зеленых холмов, лесов и озер раскинулся город, полный святых памятников и реликвий. В Вильне скрестилась история четырех народов. Это древняя столица Литвы. В центре города возносится Замковая Гора, на ней руины замка князя Гедимина. В ожидании возвращения литовцев владеют городом поляки. Их конница захватила этот город в 1920 году. На Замковой горе поляки поставили белые кресты на месте казни польских повстанцев 1863 года. Этот город им свят: отсюда вышли великие польские поэты Мицкевич и Словацкий, многие герои и строители польского государства. — Но и русские имеют притязания на Вильну.

Над русской Вильной стародавней

Родные теплятся кресты,

И звоном меди православной

Вновь огласились высоты, —

писал в середине прошлого столетия Тютчев. Сролик вряд ли читал Тютчева. Но он видит в центре города церкви с куполами, древний собор с византийскими

ликами святых. И чудотворный образ в Острой Броне — одинаково свят для поляков, литовцев и русских.

Сролику чужды и враждебны иконы и святые места, предмет поклонения преследователей и угнетателей его народа. Но они не подавляют его. Вильна не Париж, не Москва и не Вена, где евреи невольно поддавались могущественному обаянию одной-единственной культуры нации, среди которой находились. В Вильне евреи живут на перекрестке нескольких национальных культур, и в результате ни одна из них не имеет на них исключительного влияния. Среди поляков, литовцев и русских они чувствуют свою независимость и утверждают свое право идти, ни с кем не сливаясь, своим путем.

И так вырастает Сролик из виленской почвы, как виноградная лоза или гибкий, неуступчивый пальмовый росток, который надо пересадить в другой климат, под другое небо, чтобы он мог развиться во всю свою величину и дать плод. Что для него Вильна? — Город ста синагог. город легенд и отцов. Здесь, вокруг улиц Завальной, Еврейской и Немецкой, вокруг „Шульгофа“, в сети кривых переулков, растет упрямая молодежь. Откроем не Тютчева, которого не знал Сролик, а большого еврейского поэта Залмана Шнеура и прочтем, что он писал в 1915 году в поэме „Вильна“ об этой молодежи:

...Попуту на рассвете Литвы, сером и свежем,
я выйду
По кривым переулкам бродить и глядеть в их
юные лица:
Дети бегут, торопясь, в хедер — нежны их лица
и печальны глаза,
Щеки их голубеют прозрачно и светят слабым
румянцем...
Как бледны! Как худы! Это чахлость южной
пальмы

Вырванной из родной земли и пересаженной
в топи Полесья.
Спешат в хедер, где душа их, сама о том не зная,
В черных буквах искать будет блеск галилей-
ского солнца.
Там услышат, как шепчут травы, листая книгу
за книгой,
И запах моря и гор в забытых преданьях
почуют...

Но не только „запах моря и гор“ далекой родины почуют они. Дойдет до их ноздрей вся гамма запахов виленского гетто: затхлый запах старинных фолиантов в притворах синагог, и сырость подвальных жилищ бедноты, и запах яблонь, цветущих в мае в садах над Вилией. Здесь жили поколения и боролись за славу имени божьего на чужбине. Сролик видит могилу Илии Гаона. Место в синагоге, где он молился полтора столетия тому назад, заложено камнем, ибо никто после его смерти не достоин стать на его место. А почему называют Вильну „Литовским Иерусалимом“? — Были времена, когда другие города — Минск и Брест — смотрели на Вильну с пренебрежением, как на город ремесленников и неучей. И не было для нее места в „Вааде четырех земель“. Тогда учредили перепись в Вильне, и оказалось, что есть в ней триста тридцать три таких, что знают наизусть весь „Шас“, весь Талмуд! Но цифра 333 передается в еврейском алфавите буквами ШЕЛЕГ — а слово „шелег“ значит „снег“ по-еврейски. Один из раввинов воскликнул: „Стоит в книге Иова „Снегом облечется земля...“ — Вильна достойна занять место в Вааде (Совете) Земель, ибо она — Иерусалим Литвы!“ — Сролик видит могилу Гер-Цедека, над которой растет плакучая ива. Жил двести лет тому — рассказывают ему — юный польский граф Потоцкий, из династии магнатов, и в Париже открылся ему свет: из уст старого еврея он узнал правду и принял еврейство. А потом вернулся в Польшу и жил в Вильне

в смирении и бедности, никем не узанный, пока не нашли его родные и не предали на казнь огнем. После казни женщина-простолюдинка, которая его проклинала — онемела. А жители предместья Сафьяник, безвозмездно поставившие дерево на костер — погорели. Давно это было, а теперь разрушено старое кладбище, и плакучую иву над гробом Гер-Цедека поляки срубили. Сролик видит свет и тени, — и сердце его сжимается от жалости и гнева над упадком и нищетой, от тоски и неясных порывов.

Наверно, читал Сролик в годы созревания не только поэму Шнеура, но и то, что другие поэты писали о Вильне. Ему было 15 лет, когда вышли „Поэмы и Песни“ М. Кульбака, молодого поэта-вильнянина, писавшего на разговорно-еврейском языке („идыш“), и в них посвящены городу строки, полные преклонения, печали и страстного протеста. Если мы хотим знать, что чувствовал Сролик в те годы, которые были решающими для жизни поколения, может быть, найдется ответ в поэме Кульбака.

На стенах твоих бродит кто-то в молитвенном
плаще,
Ночью над городом, одинокий, печальный.
Слышит он — как жилы дворов проходных и
келий укромных,
Не утихая, звенят и звенят в хриплом сердце
твоём.

И поэт — двойник Сролика — обращается к городу:

Псалтырь веков, одетый в глину и железо —
Молитва — каждый камень, песня — каждая
стена...
Здесь торжество — печаль, и праздник —
погребенье,
И утешенье — в ясной, кроткой нищете.

В этом городе поэт увидел глубокой ночью, как кто-то сидит над древней книгой:

Над книгой Кабалы, забившись в свой чердак,
И тянет, как паук, нить серых дней убогих,
И ангел Разиэль раскрыл над ним, мерцая,
Пергамент старых крыльев иссушенных.
Глаза — что ямы: там песок и тина.
И на сердце свинцовая тоска.
Так, может быть, ты только сон, мой город,
Пустое навождение, что повисло
Как паутина, на ветру осеннем?..

Нет, город не был „сном“. Но он, как вся жизнь
Диаспоры, был полон сновидцев, людей потерянных в
действительности, блуждавших в ней, как тени. И каж-
дому снился его сон, — и не было у них общего языка,
хотя судьба готовила им общую гибель.

И не случайно ландшафт поэмы Кульбака —
ночной. Вот что мы читаем в воспоминаниях другого
поэта — выходца из Вильны, Даниеля Чарного:

„Очень мало солнца в Вильне. В среднем каждый
второй день в году идет либо дождь, либо снег. Вполне
солнечных дней было в Вильне, по данным метеороло-
гии, в 1920 году — 57, а в 1930 -- уже только 26. А уж
если случится когда-нибудь солнечный день, то не для
евреев. До подвалов и чердачных комнаток в извили-
стых переулках и улочках виленского гетто солнце
все равно не доберется“. („Вильна“, Буэнос-Айрес 1951)

И как эхо этих слов звучат строки Кульбака:

Как ворон я кричу во мраке ночи —

А солнца над Литвой никто не видел.

Поэт был потрясен этой ночной тишиной обреченного
города:

...Слепые окна глухо притаились,

Никто не распахнет дверей, не выйдет к свету,

И стынут стены в смертном удивленьи —

Все тихо... тихо... тихо,,,

Это была тишина, в которой чуткий слух мог расслы-
шать шаги приближающихся убийц. Все спит кругом,

и душа сжимается от предчувствия: „И на сердце свинцовая тоска“. Во что бы то ни стало — нарушить сон, вырваться из ночного навождения! И так кончается поэма Кульбака:

Я — город с тысячью дверей, ведущих к миру,
Я — пламя черное, что лижет жадно стены,
И полыхает в остром взгляде юных, —
Я — пламя ночи! Я — рассвет! Я — город!

Здесь начало бунта, который притаился „за тысячью дверей, ведущих к миру“. И кто смотрит в лицо молодого Сролика — на фотографии со времен школы — увидит этот „острый как нож“ взгляд мятежной юности. В обоих — в молодом поэте и в юноше, едва вступающем в жизнь — горело пламя, „черное пламя“, которое должно было сжечь стены старого мира. И каждый подымал голову с гордым чувством: „Я — город!“ — „Во мне живет душа поколения, и я имею силу и дерзость поднять старый народ к новой жизни“.

Кто из них был прав в этом притязании?

Поэт, писавший на языке еврейской бедноты, на „идыш“, ушел на Восток — в Москву, которая казалась ему Новым Иерусалимом для всего мира. И там он погиб — в одном из сталинских застенков или советских концентрационных лагерей. Книги его запрещены советской цензурой. Только мы — свободные люди — сохранили память о нем и его творениях. Юноша Сролик выбрал другую дорогу — из Иерусалима на Литве, который был только этапом в странствиях народа — к Иерусалиму истинному, вечной столице. И Сролик тоже погиб. Но другой была его жизнь, и другой была его смерть. Память его не заглохла, и рука деспота босильна вычеркнуть его имя из книги живых. Сролик не пропал бесследно, затянутый тиной болота на бездорожье. Жертва его жизни в борьбе за свободу и честь гонимого народа имела смысл и оправдание.

Г л а в а т р е т ья

С Р О Л И К С Т А Н О В И Т С Я
Н А Ц И О Н А Л И С Т О М

В одну из суббот летом 1926 года Сролик вернулся из обычной прогулки с товарищами за город оборванный, грязный и с окровавленным виском от удара камнем.

Мать ахнула: „Что с тобой случилось, с кем ты дрался?“ —

Сролик, не отвечая, пошел в сени, налил воды в таз и начал мыться. Он был очень аккуратен и чисто-плотен — до того, что мыться мылом доставляло ему удовольствие, что не о всяком двенадцатилетнем мальчике можно сказать. — Увидев кровь на лице и прореху в новой субботней рубашке, мать взволновалась и позвала на помощь отца: „Посмотри как он выглядит!“

Сролик выглядел неплохо. Он нисколько не был смущен и даже явно был доволен.

— „Мы защищали честь Израиля!“ — сказал он, пока ему прикладывали примочку со свинцовой водой к ранке. „Мы не отступили и дрались как львы. Мы их прогнали“.

— „С кем вы дрались? С деревенскими, чужими мальчишками?“ —

Одна из особенностей глухих и грязных улиц на окраине города, где деревянные домишки перемешаны с садами и живут **гоим**, — это собаки, которые из-

под ворот с лаем бросаются на прохожих. Другая — это, что в них всегда рискуешь получить камнем от мальчишек, которые, как собаки, видят врага в каждом чужом человеке. Особенно, если это еврей, с бородой и в кафтане. Особенно если это целая компания еврейских чистеньких мальчиков, одетых по праздничному и громко гаддящих на своем языке. Известно, что евреи боятся собак и пугаются камней, которые на них летят из-за забора.

В эту субботу Сролик с десятком товарищей из школы выдержал сражение и удивил противников. Они привыкли, что при первом крике „эй, вы, жиденята“ и первой атаке пугливые еврейские мальчики бросаются врассыпную. Но Сролик не побежал. Сролик удивил не только подгородних мальчишек, но и собственных товарищей. Откуда взялся в этом чистеньком и спокойном мальчике — первом ученике в классе — такой боевой дух? — Сролик прирос к месту, побледнел и начал кричать на товарищей:

— „Стыдитесь! Куда вы бежите? Чего боитесь? Вас будут бить? Отбивайтесь!“

— „Их слишком много!“

— „Лучше пострадать в драке, чем спастись бегством“ — сказал Сролик — „Иначе они вам никогда проходу не дадут!“

Увидев что Сролик не трогается с места, дети вернулись к нему. Сролик повел своих товарищей вперед, навстречу опасности. Он прорвался сквозь строй врагов и провел свой отряд в полном порядке, хотя это и стоило им нескольких раскровавленных носов.

МАТЬ: „Полюбуйся на свое сокровище! Это его новый субботний костюм!“

ОТЕЦ: „Сролик, лучше не задираться с теми мальчишками. Зачем ты это сделал?“

СРОЛИК: „Они первые напали на нас, папа. А мы не могли бежать“.

МАТЬ: „Они не могли бежать! Новый член самообороны нашелся! Кто тебе велел ходить в ту сторону?“

ОТЕЦ: „Он прав, мать. Не сердись на него. Это новое поколение растет. Дай Бог, чтоб не пришлось ему драться с настоящими погромщиками, когда он вырастет“.

Отец смотрел как мальчик с бледным и решительным лицом смывал кровь с разбитого лица и усмехнулся: „Да, этот себя в обиду не даст“.

Отец Сролика был человек скромный, религиозный без фанатизма и традиционный без преувеличения. В роду отца были ученые в Законе, раввины с именем. Сам он провел свою жизнь в борьбе за кусок хлеба. Маленький подрядчик, поставщик, комиссионер. По неделям не бывало его дома. Семья держалась на границе бедности, каждый грош на счету. Так жили миллионы, еврейская масса, в жизни которой порядок, душевная красота и моральная твердость, — все утверждалось на традиции, на неисчерпаемом наследстве веков. В ежедневной погоне за заработком, в бедности, — умели быть горды и достойны. Это не была, однако, их личная гордость, а какое-то затаенное торжество, сознание принадлежности к чему-то высшему, как будто эти люди стояли у стены храма, невидимого и недоступного всем окружающим. Их внешность, одежда, еда, язык и обычаи, — все ограждало их, как высокой стеной, от других. Но не стена была важна, а то, что скрывалось за нею: то, чего не видели глаза чужих.

В Сролике уже было нечто иное и новое: была в нем личная гордость, которой не знали поколения лишенных прав и презираемых евреев. Сролик требовал уважения к себе. Ему не было все равно, что о нем подумают „гоим“.

Вот пришла суббота, отец вернулся домой из отлучки на целую неделю. Дома праздник, как в каждом еврейском доме. Забыты все огорчения и ежедневные

заботы, не только тело, но и душа омыта. „И светит каждый уголок“. Вернувшись из синагоги, сели за ранний обед. После обеда отец спит, а вечером открывает один из старых фолиантов из книжного шкафа за бархатной занавеской...

Сролик хорошо учится в школе, он умный мальчик, учителя хвалят его. Но когда отец смотрит на него и видит, чем он занят, он думает, что сын чем-то отличается от него. Не похожа суббота Сролика на субботу отца. Отец в этот день забывает весь мир, все заботы будней отступают от него. Нет никого между ним и его Творцом. Сын даже в субботу не забывает о заботах всей недели, о действительности. Он — скаут в течение всех семи дней недели, и в субботу еще больше, чем всегда. Недаром он — в организации молодежи. Таких организаций не было во времена его отца. Но сын знает, что молодежь имеет свои особые задания, которых не может выполнить старшее поколение.

Настал день в Конотопе, когда посадили Сролика зимним утром в салазки и отвезли по снегу в хедер. А в Вильне, несколько лет спустя, Сролик по вечерам посещал иешиву — богословскую школу. Там не надо было платить за ученье, наоборот: ученикам давали хлеб, подкармливали их. За эти вечерние визиты Сролик отдельно получал деньги — наградные от отца. Он учился легко и охотно. Он не был похож на избалованных и капризных детей из богатых ассимилированных семей, которые не знают, что такое святость субботы и ничего не уважают, потому что и родители их не имеют в жизни ничего святого. Сролик имеет Бога в сердце и прямую дорогу в жизни. Но эта прямая дорога как путь рыбы в море, где есть глубокое подводное течение. С течением времени она сама собой укладывается в определенном направлении. Тогда оказывается, что Сролик — сын своего времени, и время ведет его. Годы складываются в эпоху, — и каждая

эпоха имеет свое лицо, свою дорогу, свою драму. В чертах лица Сролика мы открываем лицо поколения.

В семье двое сыновей. Младший одарен практической сметкой, и он, конечно, будет купцом. Купечество — традиционная еврейская профессия. Старший, Сролик, не годится в купцы. Нет в нем житейской смекалки и ловкости, того, что надо, чтобы зарабатывать. Тянет его к той мудрости, которую нельзя перевести в деньги. Значит, быть ему „меламедом“ или раввином во Израиле: это другая традиционная дорога для еврейских мальчиков, которых Бог одарил острым умом. Учителя Сролика возлагают на него надежды. Кто знает, не станет ли он светочем веры? — Но мать об этом и слышать не хочет. Нет, из ее Сролика не будет духовного лица.

Сролик начал с хедера, а потом отдали его в Вильне в религиозную школу „Явне“. Потом он поступил в семиклассную народную школу „Эзра“ с двумя языками преподавания: иврит и идыш. Следующий шаг в сторону расширенного и светского образования он сделал, поступив в „польскую“ гимназию Эпштейна. В действительности это была еврейская гимназия, поляков в ней не было, но язык преподавания был польский, юноши и девушки учились вместе... Сролик поступил в гимназию шестнадцати лет, сразу в шестой класс. 1933 год, когда Сролик кончил гимназию, был годом, когда Гитлер пришел к власти в Германии. Продолжая в принятом направлении, Сролик должен был бы поступить в университет — в Польшу или за границей. Там бы он впервые встретился с коллегами не-евреями. Но случилось иначе.

Сролик не хотел польского университета. Виленский Университет имени Стефана Батория в то время, как и другие высшие учебные заведения Польши, был рассадником и гнездом ядовитейшего антисемитизма. Учебный год, как правило, начинался там с погрома

и избияния еврейских студентов. В середине тридцатых годов, когда Гитлер в Германии научил, как обращаться с евреями, появились в польских университетах отдельные скамьи — „гетто“ для еврейских студентов. Польская молодежь не хотела сидеть вместе с евреями, а власть не мешала ей в ее бесчинствах. Еще далека была от Сролика мысль, что можно посадить в гетто все еврейское население Вильны, но мысль об унижении, которому он должен был бы подвергнуться в „храме науки“, была ему нестерпима. Сролик не хотел Польши. Он не хотел никакого соприкосновения с не-еврейской средой, ни враждебного, ни дружеского, никакого „общего пути“. А за границей Польши был Гитлер.

Именно в эти годы, в конце 20-х и начале 30-х гг. происходит в Сролике процесс внутреннего созревания, который приводит его к сионизму в его крайней и революционной форме.

Идея „национальной революции“ тогда носилась в воздухе. Этим именем называли в Италии, потом в Германии, в Польше и других странах, самые подлые и зверские учения, в корне отрицавшие достоинство человека и его право на свободу. Самые лютые враги еврейского народа называли себя „националистами“. Это слово было скомпрометировано в массах польских евреев. Но было неизбежно, что евреи перед лицом враждебного мира должны были считаться с его методами и усвоить себе те способы самозащиты, которые единственно могли быть действительны в данных условиях. Национализм Сролика родился из сознания угрозы, нависшей над его народом, и из отталкивания от конкретных форм зла, которые в то время уже были видны, или должны были быть видны, каждому разумному человеку на еврейской улице.

Мы должны поставить вопрос: „как становятся люди националистами? Как становится молодой ученик еврейской гимназии в городе Вильне, еще мальчик, сто-

ронником самого радикального, самого беспощадного способа разрешения еврейского вопроса, какой когда бы ни было был предложен в еврейской истории?

Что приводит к национализму? — Ответ на этот вопрос интересует нас не в общей форме, ибо нет общего и равного ответа для всех людей, во всех обстоятельствах. Вся жизнь Сролика служит нам ответом — или одним из ответов. Но, прежде всего, надо напомнить, что слово „национализм“ имеет два смысла. Есть национализм ненависти и национализм любви. Есть национализм слепой страсти и национализм ясного понимания. Есть национализм унижающий человека, несущий смерть и разрушение, — и национализм возвышающий человека, освобождающий народы.

То, что привело Сролика к его „идее“, не было просто потребностью бунта и ненавистью к угнетателю. Нельзя вывести национализм Сролика только из внешних обстоятельств его жизни, ибо в тех же условиях находились другие еврейские мальчики, и в то же самое время. Опыт их жизни был подобен тому, который выпал на долю Сролика. И, однако, из тех же предпосылок они сделали другие выводы. Все они прошли через ужасы войны, погромы, голод, антисемитизм, — и одни из них решили, что надо уходить в Америку, в страны „просвещенной демократии“, а другие стали коммунистами. Для третьих выход заключался в обще-культурной работе или в том роде „умеренного“ сионизма, который стыдился самого слова „национализм“.

Национализм Сролика вытекал из любви к его несчастному и гибнущему народу. Но другие не меньше его любили народ и хотели служить ему, — и однако, не вышли из круга традиционной религиозности, слепой для всего окружающего и неспособной к политическому действию. Когда мальчики в возрасте Сролика начали одеваться в мундиры и учиться употреблению оружия, еврейская улица встретила их издевательствами.

В глазах традиционных евреев они были отступниками, худшими евреями, чем они сами. Они „заразились чужим духом“, гласила молва. Как же случилось, что „чужой“ дух прилип к нашему Сролику?

Национализм, в точном смысле, не мирозерцание и не „жизнеучение“. Он не решает ни философских, ни религиозных, ни этических вопросов. Национализм — это практическое решение, принятое человеком, отдать все свои силы на службу своему народу. „Народ“ не значит „класс“, идеал, доктрина или религия, — народ это целость, какая есть, исторически данная. Национализм ставит себе политические задания и кладет конец одиночеству человека, ибо он требует организованного, коллективного действия. От характера политических задач, которые себе ставит националист, зависит, найдут ли в нем выход силы любви или силы ненависти к человеку, ибо оба эти чувства живут в каждом из нас, и борются за преобладание в душе каждого человека.

Много тысяч молодежи было в возрасте Сролика в Вильне, а во всем еврейском народе их число было миллион, и все они были детьми своего народа; даже ассимилированные среди них, не зная того, продолжали оставаться евреями. Но только меньшинство, как Сролик, сделало этот шаг к решительному и сознательному национализму во имя любви. Иначе говоря, они взяли на себя политическое служение народу как долг, — как тяжелую ношу и как профессию.

Как это произошло?

Мы видели, что Сролик с самого детства столкнулся с гонениями, преследованиями, изгнанием. Ненависть не направлялась против отдельных евреев, она не делала разницы между бедными и богатыми, дурными и хорошими, — ее объектом был весь народ. Можно ли сказать, что националистом сделало Сролика внешнее давление?

Нет, ибо никакое давление не могло бы произвести такого эффекта, если бы не жила в его душе верность чему-то большому и вечному, что называется „еврейский народ“. Был момент, когда Сролик почувствовал свою принадлежность к народу так живо и непосредственно, как принадлежность к семье.

Можно сказать, что национализм Сролика вырос, как из зерна, из его привязанности к семье. „Народ“ был для него огромной и теплой семьей, любовь к нему — любовью сыновней, братской и отцовской вместе. В большой семье всегда бывают любимые и менее любимые, неприятные родные, — „в семье не без урода“ — но всех объединяют узы общей крови, общей судьбы, общих воспоминаний и общих чувств.

И как „народ“ был большой семьей, так „родина“, далекая и взыскуемая, ждущая искупления трудом и подвигом, — была домом, который надо было поднять из развалин, своим домом, о котором мечтал бездомный Сролик, переходя от одного временного пристанища к другому.

Арифметика никогда не была сильной стороной Сролика. В его школьных свидетельствах знания по арифметике оцениваются скромной отметкой „удовлетворительно“. И, однако, арифметика тоже помогла Сролику найти дорогу в жизни, наравне с историей. Он был хороший сын. Как-то он начал считать — сколько было в мире людей, которым он обязан жизнью. В данный момент их было двое: отец и мать. Но 25 лет раньше их было четверо: дед и бабушка со стороны отца, дед и бабушка со стороны матери. Семейные фотографии этих четырех человек, от которых Сролик происходил по прямой линии, как боковой сучок от ветки, сохранялись в семейном альбоме. И мальчик начал себе представлять тех отдаленных предков, от которых не осталось портретов, не осталось даже воспоминаний, — но они жили, и если бы не было их

забытой жизни, то и он бы не существовал на свете. Сколько же их было? — Сролик взял среднюю продолжительность нарастания поколений: двадцать пять лет. Пятьдесят лет тому назад жили на земле родители его дедов: их было восемь человек. Семьдесят пять лет тому назад жили шестнадцать родителей этих восьми человек. Сто лет тому назад их было тридцать два. Не подлежало сомнению: сто лет тому ходили по земле, не зная друг друга, жили в разных городах и странах, может быть разделенных сотнями километров, тридцать два человека, и жизнь каждого из них была необходима, чтобы Сролик мог родиться в Вильне сто лет позже.

Теперь Сролик взял лист бумаги и начал считать. Двести лет раньше у этих 32 человек было 2 на 2 на 2 — 512 предков. Триста лет тому назад семья Сролика — число людей, от которых он происходил по прямой линии, должно было составлять 8192. Все они были евреи (при отсутствии смешанных браков в то время), и их предки тоже были евреи. А сколько их было 400 лет тому назад? — Сролик помножил 8192 на 2, на 2 и на 2... и нашел, что их число составляло кругло — 131000.

Еще одно столетие вспять — и Сролик нашел, что в 1430 году, в том году, когда черная чума с громами пронеслась по Европе, и евреи начали из Германии уходить на славянский Восток, в Польшу и Литву, число его прародителей должно было составлять больше двух миллионов!

И тут он начал смеяться ибо столько евреев не было тогда на всем свете. Сролик успел уже прочитать несколько серьезных книг и знал, что по расчетам историков число евреев во времена средневековья на всем свете колебалось между одним и двумя миллионами. Очевидно, его арифметика хромала. Нельзя было из поколения в поколение умножать цифру населения на 2, потому что у многих были общие прадеды-предки, и это сокращало счет. Но одно было ясно, — и когда

Сролик это сообразил, это произвело на него огромное, потрясающее впечатление: — что в годы средневековья, когда жил в Европе миллион евреев, не было среди них ни одного, или почти ни одного, кто бы не был связан с ним узами крови, кто бы не передал ему свою жизнь в наследство, как некогда Авраам, размноживший свое семя по свету в десятках поколений.

Читатель, может быть, найдет странной арифметику Сролика, весь этот склад мысли, который заставлял его оборачиваться по следам поколений, вместо того, чтобы ощущать свое родство с живыми людьми его времени — евреями и не-евреями. Но Сролик искал опору там, где мог ее найти. Он искал ее в прошлом, чтобы тем лучше преодолеть недоброе настоящее и пробиться к будущему для себя и близких по духу.

Весь народ — одна огромная семья! — Поколения связаны и переплетены, каждая отдельная жизнь биологически зависит от прошедших и сама входит, как необходимое условие, в будущее поколение.

Каждый из нас — звено в огромной цепи, которое нельзя вырвать без последствий для будущего.

Этот союз крови — какое значение он имеет? Разве этого достаточно, чтобы создать народ? — Это только фундамент нации. Во все времена то, что держало людей вместе и заставляло их соединиться и рождать новую жизнь — была та близость, которая создается духом и верой. Первая из заповедей говорит: „Я, Господь Бог твой...“ и только потом идет заповедь о почитании отца и матери. Все связано вместе. Если будешь верить в Бога, то будешь почитать отца и мать, как велено Богом. Но если будешь почитать отца и мать — они научат тебя, как почитать Бога, и так как число отцов и матерей — миллион, они научат тебя видеть целость народа в смене поколений, — и ты узнаешь, что твое настоящее — только мост из прошлого в будущее.

Не надо смущаться тем, что нет теперь у евреев ни общего языка, ни общей территории, ни взаимного понимания. При всем том они составляют общую семью, и есть у них общий исходный пункт в той родине, из которой они вышли, и в том языке, которым они прославили имя Бога на земле. И какая в том важность, если кто-нибудь не признает этой родины и этого языка? Виленские евреи говорят на разных языках и считают „Литву“ своей родиной. Надо им открыть глаза. Если кто-нибудь забыл своего отца и мать и вошел в чужую семью, значит ли это, что его отец и мать перестали быть его настоящими родителями? И даже — если ты возненавидишь ту, что тебя выдала из своего чрева, — это все-таки твоя мать. И даже если отречешься от родного отца и будешь называть этим именем другого человека, который тебя принял в свой дом и оказал тебе ласку, — что это меняет? — Отец остается отцом. Народ всегда остается связанным со своим прошлым, от которого он не может освободиться, не потеряв своего лица и не перестав быть собой.

На этой ступени Сролик уже был „националист“. Он нашел свое духовное место. Не было у него потребности в человечестве, в абстрактных или классовых идеалах, ибо „народ“ сосредоточил в себе всю его любовь. И это не значило что он вступил в противоречие с целым миром, или восстал против человечества и идеалов, общих всем народам. Он был в совершенном мире с собой, в мире со всем человечеством, именно потому, что не искал для своей любви слишком абстрактных и широких определений. То, что он любил, и чего хотел, было с самого начала точно определено и вполне конкретно. Он знал чего хотел, — и так же хорошо знал, чего **не** хотел.

Г л а в а ч е т в е р т а я

В И Л Е Н С К И Й Б Е Т А Р

В 1932 году группа виленской молодежи прорвалась — через Францию и Сирию — в страну Израиля. Сертификатов у них не было, и они не спрашивали разрешения ни у англичан, правивших страной, ни у сионистских властей, которые тогда распределяли британские сертификаты и отбирали подходящих для алии кандидатов. Они были нелегалы вдвойне: и против чужих, и против своих. Давно нарастал раскол в сионистском движении, и в начале тридцатых годов он определился с полной силой.

Сионизм в целом есть мятеж против еврейского рассеяния, бездомности, ненормальных условий жизни в Диаспоре. Мятеж этот идет приступами, повышаясь со ступени на ступень.

На пороге столетия дух мятежа олицетворен в образе человека с черной ассирийской бородой и глубоким взглядом горящих черных глаз. Это совершенный джентльмен, одинаково хорошо себя чувствующий в гостинных Вены, парижском Пале-Бурбон и лондонском Вестминстерском дворце. Путь его ведет из кабинетов миллионеров, министров и коронованных особ в гущу еврейской бедноты. Памятный день его жизни: 29 августа 1897 года, когда открылся в Базеле Первый Сионистский Конгресс, где, по словам Герцля, он „основал Еврейское Государство“.

Двадцать лет спустя пришла вторая волна мятежа. Ее памятное событие: день, когда первые солдаты Еврейского Легиона в составе армии Алленби перешли границу страны. — „Англичане могли освободить страну и без нас, но они это сделали с нами“ — слова Жаботинского. Теперь мы знаем, что они это сделали не только с нами, но и для нас. Настал день, когда британские войска отступили, но израильская армия осталась в стране. Дух Легиона продолжал жить в движении, весной 1924 года основанном в Париже. Носителем мятежа в этом случае был уроженец Одессы и выходец из России, воспитанник либеральных традиций русской интеллигенции, человек с худым бритым лицом, твердым подбородком и упрямыми глазами, Владимир — или по-еврейски Зев — Жаботинский.

Зев Жаботинский не хотел делить власти в стране ни с британским мандатором, ни с арабским Муфти, будущим союзником Гитлера. Он научил еврейскую молодежь гимну Бетара и песне о двух берегах Иордана. Программу его можно резюмировать в трех пунктах: первый — учиться стрелять. Второй: не ждите, пока вас перережут, уходите из стран, где вас ненавидят, освободите родину. Третий: не косите глазами направо и налево, сосредоточьтесь на одном идеале, на одной ясно-очерченной политической цели. Родины не покупают за деньги, и даже самоотверженный труд халуцов недостаточен, чтобы искупить свободу, пока не будет у вас силы и решимости заплатить за нее цену крови.

Это было просто и ясно — может быть, слишком просто и ясно для ментальности поколения, выросшего в неволе. В середине 30-ых годов Жаботинский — джентльмен, либерал и поэт — был отмечен в сторону сионистским большинством. Напрасно он искал себе поддержки во влиятельных еврейских кругах — он не получил ее. Тогда поднялась из среды его молодых учеников третья волна мятежа, — и мы не ошибемся, если за памятный день этого третьего восстания примем



**„...человек с худым бритым лицом, твердым подбородком
и упрямыми глазами“**

день, когда первые нелегальные олим — иммигранты — без разрешения чужих и без благословения официальных органов сионизма прибыли в страну.

На этот раз носитель мятежа — коллективное тело, новый тип еврейской молодежи, выросшей в центрах Диаспоры. Люди в кожаных куртках, люди в темно-коричневых блузах. На этот раз это не джентльмены, не либералы, и не интеллигенты. Их идеал — солдатская добродетель. Они хотят быть сильными в службе своего народа. Чем меньше их число, тем больше их решимость не считаться с большинством, которое как овца идет без сопротивления навстречу собственной гибели. Они не полагаются на гуманность и добрую волю окружающего их мира и решили силой защищать то право на жизнь народа, которого не докажешь никакими хорошими словами.

Бетар — Союз имени Трумпельдора — был основан в Риге группой сионистской молодежи, которая не была религиозна, но противилась атеизму; верила в будущее, но не отказывалась от прошлого; не была социалистической, но противилась классовому эгоизму во всякой форме; не была утопической, но хотела Еврейского Государства в наше время и в нашем поколении. Поэтому провозгласили ее „милитаристской“, „реакционной“ и „чуждой еврейскому духу“.

В тридцатые годы Бетар насчитывал в Польше сотни отделений, десятки тысяч товарищей. Это было самое большое по численности, если не по организованности, движение еврейской молодежи в этой стране. В это время жил в городе Лодзи человек, который решил написать книгу о еврейском мятеже. В предисловии к этой книге он писал: „Сущность нашей жизни — мятеж. Дух бунта и борьбы надо привить молодому поколению, как противоядие, как то необходимое условие, без которого никто не сможет у нас сохранить морального здоровья и душевного равновесия“.

После того как автор — который, случайно, также и автор этой книги — закончил свою книгу о путях еврейского мятежа, он разослал ее в четыреста отделений польского Бетара. Он посеял свою книгу в четыреста борозд бетаровского поля и ждал, что взойдет посев. Он также пригласил в том городе, где жил, лидеров движения на закрытое собрание для немногих, где он хотел прочесть фрагменты из своей книги. Он думал, что книга об „Идее Сионизма“ заслуживает особого внимания. Он оделся в свой самый лучший черный костюм и пришел на собрание в очень торжественном настроении.

И — не смейся, дорогой читатель! — ни один из приглашенных не явился на собрание. Даже председатель клуба, где должно было состояться чтение, не пришел. Без всякой враждебности, ведь это были добрые друзья автора. А что случилось с двумя тысячами экземпляров книги, разосланной в четыреста „гнезд“ Бетара? — Не знаю. Она канула, как камень в воду. 15 или 20 отделений подтвердили получение. Читали ли они книгу? Распространили ли ее? Что с ней стало? — Не знаю.

Бетар не нуждался в книгах о сионизме. Бетар был движением, как говорит (с сожалением) один из его замечательных воспитанников и учителей — д-р Израэль Шайб — „антиинтеллектуальным“. Во всяком случае, они уже знали о сионизме все, что им нужно было. Так они, по крайней мере, думали. Не книги им были нужны, а ружья, гранаты, пулеметы. „Железо“.

Из всех четырехсот или пятисот отделений Бетара в Польше знаменит был виленский. В тридцатые годы там насчитывалось от 400 до 800 товарищей. Это не много на город с еврейским населением в восемьдесят тысяч человек, на культурный центр с двумя постоянными еврейскими театрами, учительскими институтами, ежедневными газетами. Социалистической молодежи

из „Бунда“ или „Гашомер-Гацаир“а было в Вильне не меньше, чем бетаровской. Но виленский Бетар был силен духом. Это была самая боевая, ударная еврейская молодежь в Польше. **Литваки:** люди крепкие, здоровые телом, не сентиментальные (насколько это возможно для евреев), — люди простые и трезвые, более близкие к природе, деревне, лесу, чем польские евреи, — люди незатронутые хасидизмом и потому таящие в себе запас неиспользованной горячности и способности к политической страсти. Виленский Бетар был самостоятелен до готовности ввязаться в конфликт с центральными властями, требовал для себя широкой автономии и рано начал искать свою особую дорогу. В 1935 году на данцигском мировом съезде этой организации судья Гоффман уладил спор между вильнянами и центральным руководством. Но были у них и другие, более важные, споры.

Время тридцатых годов — эпоха погромов и роста антисемитизма в Польше. В 1935 году Бетар высылал ночные патрули по улицам Вильны против антисемитских хулиганов, наводивших ужас на прохожих. Он также организовал отпор студентам „эндекам“, терроризовавшим своих еврейских коллег в университете. Осенью 1935 г. в одном из столкновений был ранен и умер от раны польский студент. Возбуждение охватило тогда еврейский мир. Должны ли были евреи отвечать на удар ударом? Смеют ли евреи реагировать? Этот вопрос во всей остроте был через несколько лет поставлен в самой Эрец-Исраэль — Палестине. В Вильне он возник уже в 1935 году.

Виленский Бетар кипел жизнью. В день праздника Лаг-Баомер шла по городу парадом тысяча человек с двумя оркестрами, знаменами, с братскими организациями: Ярденией, Хасмонией, Брит-Гехаялом. Вечером возвращались с факелами. По мере приближения к еврейскому центру — Немецкой улице — напряжение возрастало. Рудницкая: тут уж было жарко. На

тротуарах собирались политические противники, бундисты, коммунисты, — вид еврейской молодежи с ружьями раздражал их. В их глазах это был „фашизм“. В те годы, когда тень смерти уже встала над Вильной, ее еврейское население было разделено и неспособно к национальному единству. Апплодисменты толпы смешивались со свистками и враждебными выкриками, но все покрывал оглушительный крик малышей из „дарга гиммель“ (третьей ступени), цепью, держась за руки, шедших с двух сторон мостовой:

Жаботинский — Рош-Бетар — хай векаям!!!

(Жаботинский, глава Бетара, да здравствует!)

Кто были, откуда пришли эти дети? — Прежде всего, это были дети рабочей бедноты, портных, сапожников, продавцы газет... потом примкнули к Бетару школьники, студенты. Центральный „снийф“ находился в большом доме на Квашельной ул. По вечерам он кишел молодежью. Внизу находилась большая зала со сценой. Стены были залеплены лозунгами. Зал был полон шума и пения. В одном углу поют „Аллелуя!“, в другом „Бешира убезимра“, популярную хоровую. Парни и девушки, бурно вертясь, танцуют **гору** или откалывают танец, называемый **а дике**. До поздней ночи дом гудит как улей. В то же время во втором этаже в 8 или 10 комнатах происходят занятия отдельных „китот“. Каждая „кита“ содержит от 8 до 18 членов. Три такие группы составляют „плуга“. Две три „плугот“ соединяются в „гдуд“. Виленский „кен“ (гнездо) насчитывает три „гдуда“. Выходит ежедневный стенной листок. Бетар принимает участие во всех выборных кампаниях, собирает голоса для петиций, и кроме политической работы, воспитывает своих членов в бойскаутском духе. Нельзя им курить и нельзя танцевать модных салонных танцев! А первая группа, которую организовали бетаровцы в виленской гимназии, назывались... „индейцы“. Еврейские школьники

вырывались на волю, хотели дышать во всю силу легких, под другим небом, другим солнцем.

Много лет позже у взрослых членов движения самые лучшие воспоминания с того времени остались — о летних и зимних лагерях. Зимой группами в 30-40 человек, а летом по 80 и 100 человек уходили бетаровцы далеко за город, иногда за 200 километров, жили среди лесов и гор, в крестьянских хатах и палатках, занимались спортом, играми и ивритом.

Двойной был путь к обновлению жизни: первый через природу — второй через историю.

Путь через природу вел из душного плена виленских переулков, где самый воздух, казалось, был пропитан миазмами ненависти, застарелым отчаянием веков. Прежде чем каждый из виленских бетаровцев прошел через чудесную купель Средиземного моря, которая делит старый мир от нового и заставляет сердце встрепенуться и приготовиться к встрече, — они провели счастливые недели над берегом Бреславского озера в литовских лесах. Озеро дремало во всю ширину, другой его берег терялся в дали, и ничто не нарушало тишины, кроме веселых молодых голосов.

История же явилась молодежи в образе легендарного вождя, который призван был вести их к славе и подвигам. — Сролику было шестнадцать лет, когда он впервые увидел Жаботинского. Половина гимназии и тысячи людей пошли встречать его на вокзал. Для личного знакомства Сролик был еще слишком молод. Он смотрел на него широко раскрытыми глазами, стоя в рядах, — один из многих.

Это было в 1930 году.

Восемь лет позже Жаботинский в последний раз в жизни посетил Вильну. Он прощался с ней тогда—на-веки. Среди встречающих его бетаровцев многие помнили строки, которые он посвятил Вильне в своей

автобиографии. Рассказывая о своем первом приезде в город — в начале столетия — и о тогдашних впечатлениях, Жаботинский писал:

„...В Вильне впервые открылся мне новый еврейский мир: Литва. И это было своего рода университетом для меня, для человека до того понятия не имевшего о культурной еврейской традиции, не знавшего, не представлявшего себе, что существует нечто подобное в мире. Правда, в мое время уже поблек старозаветный „Иерусалим Литвы“, но и того, что осталось, было достаточно, чтоб опьянить, ослепить меня блеском...”

Опьянить — ослепить блеском!.. В 1939 году положение изменилось. Теперь не Вильна внушала эти чувства старому человеку, прошедшему тяжелые испытания в жизни и вылеченному от многих иллюзий молодости, — теперь он сам, неизменно, одним своим появлением, как живая легенда, возбуждал в массах виленской молодежи „опьянение“ и ослеплял их блеском своей славы.

В последнем году, который еще оставался еврейской Вильне перед гибелью, Жаботинский был измучен и болен. Он один знал тайну своей сердечной болезни, которая скоро должна была оборвать его жизнь. Глядя на молодые, полные воодушевления лица, он спрашивал себя, — что принесет этой молодежи будущее, что он сам в силах сделать для тех, кто так безгранично верит ему. Он устал. Многих его друзей, которых он знал в этом городе, уже не было в живых. И вдруг — Жаботинский попросил, чтобы его отвезли на кладбище — одного, без толпы сопровождающих, — на могилу близкого ему человека.

И кто был тогда его адъютантом — во время пребывания в Вильне? Наш Сролик, один из самых преданных и верных ему, плоть от плоти, кость от кости безымянной и серой массы. Сролик за эти годы сделал большую карьеру в Бетаре. Из „коменданта группы“ стал „членом штаба“, потом был во главе

виленского „гнезда“, командовал округом и имел звание „кцин нецивут“ — офицера краевого командования Бетара в Польше. В этот день он был прикомандирован к Жаботинскому и не отходил от него.

День был пасмурный и холодный. Солнце только по временам пробивалось сквозь тучи. Автомобиль по антокольскому шоссе подъехал к воротам старого кладбища. За воротами начиналась аллея старых вязов и лип, пахло сыростью, и белые памятники тесно стояли один к одному, как стадо овец без пастуха. Долго стоял Жаботинский над свежей могилой. Сролик деликатно отошел в сторону. Фигура Рош-Бетара в темном пальто, прямая и строгая, застыла без движения. О чем мог он думать?

Сролик не видел могил, кладбища, смерти. Он весь был — жизнь. Он видел только эту одинокую, маленькую фигуру, застывшую в своих мыслях. Мысли этого человека находились в другом измерении, не как мысли обыкновенных людей. Он что-то знал, от чего зависит победа добра над злом и торжество праведников.

На берегу Жаботинского стоял Сролик, как над морем, уходящим в даль к берегам родины.

В то время, как молодой бетари с безграничным доверием и благоговением смотрел на человека, который был ему отцом и наставником, и собой ему ручался за то, что есть в жизни прямая дорога сквозь все несчастья и беды, — Зев Жаботинский закрыл глаза. Тепло солнца, как рука друга, лежало на его веках. Кладбищенская тишина и мир — глубокий, посмертный мир — охватили его.

Нет покоя в жизни, и нет покоя в смерти. Жизнь полна бед и разочарований, смерть как враг подкрадывается сзади и бьет в упор. Этот молодой человек еще узнает это — в свой час. Единый покой — уйти в прошлое, в то чего нельзя

вернуть, нельзя поправить и нельзя потерять. Здесь, за оградой кладбища, царство прошлого, которое всегда и незримо окружает человека. Вильна гробов рядом с Вильной домов и нищеты живых. Может быть, только прошлая жизнь и есть истинная жизнь. Как часто говорит один другому: „твое время прошло“ и не подозревает, что его время тоже прошло еще прежде чем началось. Нет другой правды, кроме правды воспоминаний. Кто вспомнит обо мне, вспомнит и об этом юноше, который стоит за мной. Дорога жизни ведет через кладбища... Только здесь — одиночество без горечи и доброе соседство без ненависти. Недаром враги приходят осквернять еврейские кладбища. Они знают, что здесь последний устой, здесь последний корень всякой жизни, последняя гавань. Никто не победит кладбища, оно останется после всех нас...

Сролик думал:

Этот человек чувствует себя связанным с мертвыми друзьями не меньше, чем с живыми. Нас уже ждут в городе. Там ему не дадут остаться одному ни минуты. Так это должно быть. Он нужен нам, а ему нужны вот эти гроба. Но если это нужно ему, чтобы отдохнуть или собраться с мыслями, — будем ждать терпеливо. Сегодня вечером большое собрание, придут тысячи. Жалко каждой минуты...

И как будто угадав мысли своего спутника, Жаботинский повернулся к нему, улыбнулся, и на миг сошло с его лица решительное, напряженное выражение, которым за последние годы он прикрывал усталость:

— Едем обратно, а д о н и . . .

Глава пятая

СРОЛИКУ ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

Дом на Квашельной выходил на три улицы. Были в старой Вильне, как в старой Варшаве, такие дома-муравейники, казармы со сквозными дворами, без тепла и уюта, без канализации, с облупленными стенами, где угнездились сырость, бедность, дурной воздух. Ворота отворялись на длинный проходной двор. В конце его другие ворота вели на другой двор, где рылись кошки в мусорной яме, и дети копошились в пыли или грязи, смотря по времени года.

Четырехэтажный дом сверху донизу, с его сотней квартир, был заселен евреями. Вход в квартиру на верхнем этаже был через кухню. За ней была столовая и еще одна комната, а в самой последней жил Сролик. Это была келья, размером три метра на два, с белеными стенами, где было холодно даже летом. Мебель состояла из стола, стула и кровати, занимавшей половину комнаты. Везде были книги — на столе, под столом. Маленькое окошко под самым потолком выходило на двор, где с утра слышались крики: „**старые вещи!**“, или „**точи ножи!**“, или воззвания к доброму сердцу милостивцев.

Сролику 18 лет. Он высокий, стройный и прямой как свеча. В чертах его лица — благородство и гордость, спокойствие и самообладание. Он хорошо сложен, широкоплеч, но не производит впечатления атлета или спортсмена. Физическая справность не подчеркнута, не выпирает. Скорее есть в его манере держаться вы-



„Крепко сжатые в полоску и неподвижные губы...“

соко подняв голову что-то от молодого офицера. Никаких резких движений, неожиданных жестов. Высокий лоб, темнорусые волосы, пристальный взгляд сероголубых холодных глаз, прямой нос, узкие целомудренные губы и твердый подбородок. Овальное мужественное лицо, почти суровое в минуту задумчивости. Откуда взялись на Литве эти экземпляры „северной расы“? — И однако, нет в этой внешности ничего исключительного. Над Балтийским морем, от Риги до Немана, холодное небо, гармония полей и равнин, лесов и рек, ритмический ход времен года вошли в плоть и кровь местных евреев, побелили их кожу, укрепили их тело. Ничего южного, ничего экзотического нет в Сролике. Самое характерное в овале лица — это крепко сжатые в полоску и неподвижные губы, как высеченные в камне. Это рот фанатика, упрямого однолюба: ничего чувственного, мягкого, податливого. Присмотримся еще: к узкой полоске губ прилепилось сбоку, как знамя — широкое, отстающее, плебейское ухо. Таких ушей не найдете у аристократов в феодальной Европе. Это ухо — жадно протянуто к миру, напряжено и насторожено, вливает все звуки и шумы. Ухо человека из народа, которому не приходится стыдиться ни больших ступней, ни рабочих рук, ибо он должен твердо стоять на земле, чтобы держаться на ней, иметь сильные пальцы и не бояться никакой какофонии. Сролик не родился для музыки и нежных полутонов. Много великих скрипачей родил еврейский народ, но Сролик не из их числа.

Поэзия, музы, искусство чужды натуре Сролика. Руки его не касались скрипки, и никогда он не пробовал писать стихов. Ему не дано выражать своих чувств ни песней, ни красноречивым словом. Он слишком серьезен, чтобы танцевать. Он несет груз сознания, мешающий обнять тонкий стан девушки, почувствовать ее руку на своем плече и закружиться с ней в движении, так бессмысленном и странном для строгого мо-

ралиста, но так полным собой, как песня жаворонка или запах цветов. Сролик не умеет петь. Вместо естественного богатства души, которое превращает тело в чудесный и гибкий инструмент наслаждения, у него — воля. Воля создает сознание долга. Сролик — человек долга.

Сролик — человек строгого долга. Есть монашеская строгость в бедности его жизни, в бедности его чувств, в отсутствии артистизма. Артистизм — роскошь и веселье. В каждом искусстве есть наслаждение и игра. Сролик не играет, он смертельно серьезен. Он не наслаждается, он служит. Он верный сын своих отцов и дедов, которые служили Богу, и это служение называли „работой“, и в ней видели все содержание своей жизни. Сролик не шутит с жизнью. Не коснулся его мистический экстаз, святое опьянение Воыни и Польши. Он знает, что нельзя поддаваться в жизни темным искушениям, одинаково опасным для плоти и духа. Все должно быть связано железным обручем дисциплины. Жизнь — бремя. „Жизнь — тяжкий воз и на нас возложено тащить его, в гору и под гору, всегда, до последнего нашего дня!“ — так говорит Сролик, и эти слова звучат как вздох. „Ты слишком молод, Сролик, чтобы так говорить!“ — девушка, которая могла бы быть его возлюбленной или женой, смотрит на него с упреком. Но он попрежнему серьезен. Он не теряет себя никогда, не забывается никогда. Даже когда он смеется или веселится, он не забывает, что жизнь есть тяжелый воз, из которого только смерть может выпречь.

На дне души этого юноши лежит грусть. Не его личная грусть, а наследство веков, темное бремя чужбины. Знал Жаботинский свою молодежь, когда наказал ей: Учитесь смеяться! Смеяться, несмотря ни на что, в лицо судьбе! Смеяться над теми, кто бы хотел вас заставить вечно плакать! — Но Сролик невесел. Никто никогда не слышал из его уст неприличной шутки или вольного

анекдота. Сролик не пьет, не из тех, кто в бутылке ищет вдохновения или способа искусственного возбуждения.

— „А все-таки, почему ты не танцуешь, Сролик?“ — пристаёт к нему девушка, „хочешь, я научу тебя? Я бы хотела танцевать с тобой, а вот, ты не умеешь“.

Он не умеет потому что не хочет. А не хочет, потому что стыдится. Он не смеет слишком быстро подойти к той беззаконной и легкомысленной жизни, которая свободна от забот, как дети, — а ведь он воспитатель. Он тот, кто воспитывает детей. На нем ответственность.

Несмотря на то, что он не умеет петь, Сролик все-таки выучился сольфеджио, т. е. чтению нот. Знать ноты — его долг, как учителя, это входит в программу. Несмотря на то, что он слишком занят, чтобы танцевать, он все-таки, в конце-концов, научился танцевать два танца: танго и вальс. Надо все уметь. Командир Бетара не может в обществе отставать от других, это часть светского воспитания.

Сролик не оратор. Он говорит мало, с трудом, без удовольствия для себя и для слушателей. Ему так трудно сформулировать свои мысли, что в виленском Бетаре друзья называют его **дер мекер** — заика. Это черта замкнутых людей, мысли и чувства которых рождаются тяжело и весят тяжело. Он поражает в обществе своей молчаливостью. Еще раз посмотрите на его фотографию: на сжатый тонкий рот и большое ухо. Сролик родился, чтобы слушать, а не чтоб говорить. И то, что он слышит, вникает в него глубоко и как зерно прорастает в его сердце. Он не вождь и не герой. Но без него не может обойтись ни вождь, ни герой. Он прирожденный оруженосец, помощник, советник. Он не великий человек, но там, где делается история, он в авангарде, в первом ряду. Он не из тех, кто дает знамя своему поколению, но он крепко держит знамя.

И можно доверить ему знамя, ибо он крепок душой и телом, серьезен и предан до конца.

Сролик — чистая душа. И это знают и чувствуют все окружающие его, и за это ценят его все те, которым нужна его совесть и вера, как хорошая подпись на сомнительном векселе. Он проникнут высокой моральностью. Мир делится для него на „можно“ и „нельзя“. Из всех учений Жаботинского он принял и глубже всего усвоил учение **Гадара**. — Нельзя отступать от чистоты принципов, нельзя лгать и обманывать, нельзя пользоваться нечистыми средствами для достижения политической цели. Сролик до конца жизни был наивным человеком. Люди как Сролик необходимы каждому политическому движению, как кровь живому телу, но не они составляют его мозг, стоят во главе и направляют его действия.

Из всего вышесказанного легко понять, что Сролик — при всей своей осторожности в высказываниях, доходившей до робости, — никогда не терял уверенности в выбранном им пути. Был у него твердый грунт под ногами, и он стоял на нем, не пробуя уклониться ни вправо, ни влево. На рискованные идейные эксперименты он не пускался. Он не был любопытен к чужой вере, как многие беспочвенные интеллигенты. Конечно, в качестве инструктора и учителя, он должен был знать, где проходят идейные границы, и что находится по ту сторону царства, которое он избрал. Это было знание пограничника. Сролик читал много, но не через меру. Он знал, что такое марксизм, ибо это была одна из границ, на которых кончался сионизм, но не углублялся слишком в философские проблемы. Он не тратил времени также и на чтение для развлечения, на легкие романы и литературу „вообще“. Его чтение состояло из трех частей. Классиков сионизма он знал очень основательно и полно. За литературой своей партии, со всеми ее публикациями, прессой, журналами, следил внимательно. И непрерывно изучал педагогику. Это

было его ремесло, которое он любил, за которым ухаживал, как смотрит кибуцник за трактором, без которого нельзя работать в поле.

Сролик рано вышел в поле, и до заката дня оставался в нем. День его был короткий, но полный труда. Жизнь его прошла без бурных страстей, нарушающих спокойное течение жизни. Все бури пришли к нему извне, непрошенные, — он сам не искал их. Он был как чистый хрустальный пруд, к которому люди сходились со всех сторон. Он не был человеком ненависти даже по отношению к крайним политическим противникам. Он невольно внушал уважение даже тем из них, для кого один вид бетаровского мундира был несносен, как личное оскорбление.

В гимназии Сролик сблизился с учителем математики, по имени Зильберман. Это был старый бундист, из тех, кто создал себе особый мир и жил в нем как улитка в раковине. Медем и Михалевич были его боги, Пат и Хмурнер — товарищи, Виктор Алтер — наставник мудрости. Все горизонты замыкались для него „рабочим движением“ и „социальной революцией“. В молодости Зильберман был активен, организовал забастовку на бумажном заводе, сидел в царской тюрьме и вспоминал об этом времени с умилением. Молодые члены „Бунда“ из союза молодежи „Цукунфт“ смотрели на него как на ветерана. С лысой головой и желтыми от табака пальцами, с мешками под глазами и обрюзглыми щеками, он выглядел как Сократ на афинском рынке.

В глазах этого человека Сролик Эпштейн в темно-коричневом мундире Бетара выглядел как жуткий призрак, как страшная ошибка еврейской истории. Зильберман был сердечным, добрым человеком, и сердце его болело при виде такого симпатичного, такого серьезного и способного мальчика, который дал себя опутать черной реакции. — Он решил пригласить его к себе домой — под предлогом „помочь ему в математике“, — но

в действительности он хотел ближе к нему подойти, подействовать на него.

— „Ты загадка для меня, Сролик“, — сказал ему с огорчением старый математик, вынимая изо рта трубку и глядя на него как на алгебраическую задачу с непонятной ошибкой в тексте. — „Что ты делаешь в этом фашистском лагере? Ты парень культурный, интеллигентный... Как ты можешь там выдержать?“

Сролик вежливо улыбался, в глазах его играли веселые огоньки.

— „Мои товарищи, может быть, не очень образованы, это простые евреи. Они хотят жить и хотят еврейского государства. Что в этом плохого?“

Зильберман смотрел на него с состраданием, как на опасного больного.

— „Что тебе пришло в голову? Какое государство тебе снится? Зачем тебе государство? Три миллиона евреев жило в Польше и три миллиона в ней останется. Ты хочешь им помочь? Открой глаза и посмотри: — какая буря готовится в мире, какая революция!“

Сролик открыл глаза, поднял брови и уставился на старого еврея.

— „Я сионист“, — сказал он почти в тоне извинения. — „Мы хотим, чтобы у евреев все было новое: новое небо и новая земля, новый язык и новый климат, новые понятия, новая экономика и новая психология. Какой еще надо революции? Это и есть величайшая революция. Я думаю, никакой народ в мире такой не имел, а мы ее сделаем“.

— „Сролик“, — ужаснулся Зильберман — „что ты говоришь, что ты путаешь? Революция — дело мировое, а ты дальше своего еврейского носа не видишь! Разве в нас, евреях, дело?“

— „Вот эти мировые благодетели нас первые и угрожают, и даже не поморщатся: разве в нас, евреях, дело?“

— „Сролик“ — качал головой старый учитель. — „Опомнись! Куда ты зашел? Вы, сионисты, как малые дети. Чего вы испугались? Антисемитизма, Гитлера? — Когда волки выходят из лесу, дети бегут в избу прятаться. Но охотник берет ружье и идет навстречу волку. Вы, сионисты, как малые дети, бежите прочь от волка, далеко, за три моря, и думаете, что он вас не найдет в Палестине. Но есть на свете охотник, он не боится, он убьет волка. Ты знаешь, кто этот охотник? — Социализм! Красная Армия! — А вы глупостями занимаетесь“.

— „Пусть Бог нас спасет от волка и от охотника!“ — смеялся Сролик.

— „Ты думаешь, арабы в Палестине вам обрадуются? Погодите, наживете вы себе там беду!...“

Сролик ответил медленно, не спуская глаз с собеседника:

— „Не страшнее арабы соседей наших на Литве и в Польше... Я не знаю, что выйдет из наших усилий. Одно я знаю наверно: что поражение нашего движения будет также и Вашим поражением, господин Зильберман“.

— „Что это, угроза?“

— „Не угроза, а предупреждение. Все мы связаны общей судьбой“.

— „Слушай,“ — сказал Зильберман, — „на Литве растет картошка, а не апельсины. И жаль мне, что такой **картофлед**, как ты, затосковал по апельсинам. Не для нас этот буржуазный фрукт. Оставь апельсины, Сролик!“

— „А у меня для вас другое предложение, господин Зильберман. У вас трое детей. Какой у них будет конец? — Вырастут коммунистами. Мир велик, много в нем разных дорог. Не хотите ли послать своего старшего мальчика в Эрец? На всякий случай. Я готов ему помочь ехать нелегально. Там пусть в кибуце поживет, посмотрит“.

Это предложение привело Зильбермана в веселое настроение, как острота.

— „Ты, Эпштейн, неисправим. Чтоб я послал своего сына к сионистам? Помогать им служить интересам британского империализма? Не доживут они!“

Выходя от Зильбермана, Сролик остановился на углу Завальной. На проводах висел красный флаг, и полиция суетилась, снимая его. Красный флаг повесили коммунисты. Здесь была политическая демонстрация. Перед лавкой кошерной колбасы толпился народ: витрина была разбита камнем. Рука еврейского комсомольца бросила камень в окно еврейского лавочника. По другой стороне улицы стоял польский студент-корпорант и смеялся.

В одну минуту представился Сролику весь трагический круг еврейской жизни: все ненавидели всех. Коммунист Зильберман ненавидел бундиста Зильбермана. Зильберман-бундист ненавидел Зильбермана из рабочей сионистской партии. Зильберман из „Поале-Сион“ ненавидел Зильбермана-бетаровца. И над всеми стоял польский антисемит, который не знал, что ждет его самого вскоре от руки Гитлера, — и готовил им всем общую гибель.

Сролик исполнился удивления при виде этого непонятного и фантастического зрелища. Он пожал плечами и пробормотал свое обычное словцо:

— А фолк! — А ланд! — А велт!

Ну и народ! Ну и край! Ну и люди!

Г л а в а ш е с т а я

М Е Й Ш А Г О Л А

Сролик не только в духовном смысле был чист. Он был опрятен, держал в образцовом порядке свои вещи, ценил их и берег, как только люди выросшие в бедности умеют беречь каждую вещь. Ложась спать, он аккуратно складывал одежду. Он сам пришивал оторвавшуюся пуговицу. Ботинки его были вычищены, единственный выходной костюм всегда выглажен и чист без пятнышка. Он сам стирал себе носки. Он всегда знал, сколько денег лежит в его кошельке, и никогда не терял нужных бумаг.

Если прибавить к этому, что он уважал старших, был отменно вежлив и умел также старших заставить уважать себя, то получится картина образцового молодого человека.

Таких принято ставить в пример другим. Матери хотели бы иметь таких сыновей. Девушки хотели бы иметь таких братьев. Директора хотели бы иметь таких сотрудников. Но у этой скромности была граница. Или, лучше сказать, — была обратная сторона. Чтобы оценить эту скромность, надо помнить, что наш примерный юноша носил бетаровский мундир, в цвете которого заключался грандиозный вызов. Бетаровским мундиром покрывал Сролик свою скромность. Он находился в состоянии войны со всей окружающей еврейской действительностью, он отрицал ее начисто. Единственный выход он видел в восстании. „Иудея пала

в крови и огне, — и восстанет, как пала — в крови и огне“ — было лозунгом бетаровского движения.

В этом-то и заключалось знамение времени, что такие люди как Сролик, без буйного темперамента, но с глубокой потребностью любви и служения чему-то великому, не боялись привести себя в противоречие с окружающим еврейским миром, который в них видел „нарушителей заветов“. Мысли Сролика шли далеко, он чувствовал себя в авангарде и во главе своей эпохи.

Тем временем были у него свои private хлопоты. Среди знакомых Сролика был врач, человек равнодушный к политике и неисправимый скептик, один из тех, кто здоровье и независимость считает единственными ценностями в жизни, и в каждом человеке подозревает болезнь.

Сролик пришел к врачу в начале знакомства, чтобы посоветоваться. Он вырос в среде, где взрослые не обсуждали с младшими щекотливых вопросов. В возрасте „бар-мицва“ (тринадцати лет) он мог цитировать наизусть целые главы из Исаяи и Иезекииля, но некоторые основные факты из области отношений между полами оставались ему неясны. Потом он прочел роман с описанием, которое смутило его воображение. Полную информацию он получил в школе от товарищей, но то, что он узнал — и цинизм передачи — отпугнули его своим безобразием. На долгое время сексуальность стала для него чем-то грязным и постыдным. Он краснел, когда в его присутствии говорили об этом и старался не думать. Это плохо удавалось ему. Потом он стал краснеть при встрече с очень самоуверенными и кокетливыми девушками. Это раздражало его. Он почувствовал необходимость отделаться от своей невинности.

Это оказалось для него неожиданно трудно. Товарищи, с которыми он разговаривал, подняли его на смех. Что могло быть легче? Все они, кто раньше, кто

позже, имели дело с женщинами легкого поведения. Они знали адреса и ходили за город, на известную улицу, вдвоем или втроем. Они предложили взять его с собой. Но все существо Сролика поднялось в нем против, когда он понял с их слов, что эти молодые парни, для которых „секс“, как и для него, был чем-то греховным и непристойным, сообща пользовались одной женщиной, по очереди. Сролик почти стыдился того, что для него физическое сближение было таинством, требовало дискретности, нежности и должно было иметь личный характер. Он стыдился своего стыда, но его отталкивала распущенность его товарищей. В конце-концов они перестали с ним разговаривать на эту тему. „Сролик человек особенный“ — решили они, „он не такой как все. Ему не нужно телесного греха. Его невеста — Бетар. Он женат с Бетаром“.

Но это не было точно. Сролик не был женат с Бетаром, в котором все товарищи были ему братья и сестры. Сролик вошел в большую семью, где отцом был Рош-Бетар, а он сам был старшим братом по отношению к своим подначальным, но он не чувствовал себя ничьим женихом, и еще меньше — мужем.

Сролик решился сделать необходимый для него шаг — втайне от товарищей. Никто не должен был знать об этом. В городе Вильне были бульвары и переулки, которые с наступлением темноты превращались в рынок любви. Наступил вечер, когда он переборол себя и пошел за женщиной, которая показалась ему молодой и красивой.

Страх, любопытство и стыд кипели в нем. Это было первое его интимное соприкосновение с женщиной из чужого мира. Вблизи женщина оказалась не молодой и некрасивой. Она была ужасна. Его поразила будничная простота, с какой она, войдя в комнату, сняла с себя пальто и платье вместе. Он испугался ее хриплого голоса. У него прошло всякое желание оста-

ваться с ней хотя бы одну минуту. Он отдал ей деньги и поспешил уйти. Женщина удивленно смотрела ему вслед.

Этот эксперимент повторился еще два раза, и с тем же результатом. Как ни велико было возбуждение, которое выгоняло Сролика на улицу, и его решимость узнать то, что знали его товарищи по гимназии, — и то, и другое немедленно проходило, когда он оказывался лицом к лицу со своим испытанием. — „Ты еще слишком молод!“ — сказала ему одна. Другая начала над ним издеваться, и тогда Сролик испугался: может быть, в самом деле с ним что-нибудь не в порядке? Почему так трудно для него то, что все делают, и делают без труда?

В конце-концов, Сролик обратился к врачу. Он постарался выбрать незнакомого, в другой части города. Для врача Сролик был самым обыкновенным, банальным случаем. После осмотра и опроса он сказал ему, подавляя улыбку, с серьезным видом:

— Ты совершенно здоров. Ты совершенно нормален. Ты, наверное, более нормален и здоров, чем многие твои товарищи. Ты только более деликатен и совестлив, чем они. Не жалея об этом. Это твое счастье, что ты до сих пор сохранил свою свежесть и не растратил своей мужской силы на пустяки. Имей терпение. Придет твое время, придет настоящая любовь, и тогда исчезнут у тебя все сомнения насчет того, способен ли ты любить.

Он дал Сролику некоторые советы и пригласил зайти еще раз. Между ними завязалась дружба, как часто бывает между очень различными людьми. Скептицизм врача был так велик, что распространялся на его собственную науку. Он рассказал Сролику о психоанализе, объяснил, что такое фрейдизм, но, по его мнению, Сролик был человеком вполне способным решить

свои внутренние проблемы без посторонней помощи. — Ты из тех, кто в жизни инстинктивно, ногами, нащупывает правильную дорогу — сказал он. — Правильная дорога, это та, которая не слишком трудна и не слишком легка для твоих ног. И, однако, тянет тебя какое-то искушение в опасное место — на минное поле. Смотри, не напорись на мину!

Сролик не пробовал, со своей стороны, проповедывать сионизм молодому врачу. В его глазах это был человек аморальный: никаких принципов, никакой веры. Человек из другого мира. Не еврей и не гой. — Где твое место в мире? — спросил его Сролик. — Бразилия, город Сан-Пауло! — Почему? — Там кофе дешево. — Неужели нет у тебя отечества?

— Мое отечество, — сказал врач, — вот эти книги, — и он показал ему полки, где стояла литература на всех европейских языках. Это была библиотека гуманиста: медицина, биология, психология. Много книг об искусстве, поэзия. Все было о человеке, ничего о том, что ниже и выше его. Ничего о материальном мире. Очень мало религиозных и философских книг. „Народы и царства меня не интересуют“, сказал врач. „Я не могу их лечить и не берусь их спасать. Интересует меня то, что обще всем людям, а не то, что их разделяет“.

Он снял книгу с полки и прочел Сролику стихи:

... Yet each man kills the things he loves,
By each let this be heard,
Some do it with the bitter look,
Some with the flattering word,
Some kill their love when they are young,
And some when they are old,
Some strangle with the hand of lust,
And some — with hands of gold,
The kindest uses a knife, because
The dead so soon grow cold.

— „Я не понимаю по-английски“ — сказал Сролик.

Врач перевел ему стихи на язык, который Сролик знал:

Возлюбленных все убивают,
Так повелось в веках.
Один любовь удушит юной,
В дни старости другой,
Тот сладострастия рукою,
Тот корысти рукой.
Кто добр — кинжалом, потому что
Страдает лишь живой.

— Понимаешь?

— Не очень, — признался Сролик. „Возлюбленных все убивают“. Почему? И почему „кто добр — кинжалом“? — Это очень странно.

— Ты еще никого не любил, Сролик. Поэтому ты не знаешь, что каждая любовь имеет мучительный конец. Есть сила разрушения в любви, как в огне, который сжигает все, чего коснется, а потом сам выгорает. Любовь и смерть связаны. Рано или поздно каждый человек присутствует при агонии своей любви. Это все, что хотел сказать поэт. Люди, убивающие то, что любят, заслуживают снисхождения.

— Человек, написавший это, сам когда-нибудь любил?

— Нет, он боялся любви и старался заменить ее легким наслаждением. Это не одно и то же. Когда ты полюбишь крепко, ты вспомнишь, может быть, этот странный стих: *“For each man kills the things he loves”* „каждый человек убивает то, что любит“. Жизнь в основе темна, непонятна до конца и трагична.

— Ты знаешь об этом из собственного опыта?

Врач рассмеялся. — Не подозревай меня в том, что я кого-нибудь убил. Но если хочешь, я расскажу тебе случай из действительной жизни.

— Я знал семью из мужа, жены и дочери. Много лет они были счастливы вместе и составляли пример дружной семьи. Все кругом говорили: „Посмотрите как они счастливы. Нет более счастливой семьи“. — Муж любит жену и дочь. Это две разных любви, не правда ли? Жена любит мужа и дочь. Еще две любви. Дочь любит родителей, это так естественно. Все переплетено и крепко держится вместе.

Годы прошли, и вдруг муж открыл, что его жизнь совершенно пуста. Как это случилось, он не мог понять, но он сделал открытие, что содержание жизни испарилось из ее внешней оболочки, ушло как душа из тела, высохло как вода на солнце. В этих случаях принято обвинять время, говорят „кончилась молодость“, — но что же есть в нас такого, что бунтует против закона времени? — Сердце в нем горело, — и душа была голодна. Вдруг перестал он находить удовлетворение и душевный покой в кругу семьи. Он начал уходить из дому, начал пить. Он почувствовал холод вокруг себя и холод в себе. Он начал обвинять жену и дочь, — требовать от них доказательств невозможной преданности, которой они не могли ему дать. Живая любовь превратилась в нем в тоску и жалкую попытку вырвать силой у близких то, чего у них не было.

На этой стадии любовь начала превращаться в ненависть и преследование. Его дочь, молодая и красивая девушка, ушла из дому. Отец принял это, как личное оскорбление. Он обвинял мать в том, что она оторвала от него дочь. Он потребовал ее возвращения под родительский кров. Но дочь и не думала возвращаться. Отец больше не был ей нужен. Она пережила свое детство, без сожаления отбросила его.

Одиночество и обида терзали отца. Его доводило до бешенства сознание покинутости теми, кто был ему близок, — бессилие проникнуть в чужую жизнь, в которой он больше не занимал никакого места. Никто

не хотел делить с ним его жизни. Он ломал себе голову над тем, как заставить ненавистно-любимых почувствовать его присутствие в их жизни. Единственный способ был — причинить им страдание. Пусть, по крайней мере, боятся его.

Отец начал угрожать дочери, что убьет ее, если она не вернется домой. Действительно ли он думал, что можно угрозой запугать ее? Нет, скорее это была отчаянная попытка показать ей, как велико его несчастье, как страшно он в ней нуждается ...если может так угрожать. Но дочь только пожала плечами. Она не боялась его. Даже этой последней связи — через страх — не стало между ними.

И так дошло до катастрофы. Пытаясь во что бы то ни стало восстановить утраченный контакт, отец прибег к насилию. Он подстерег дочь на улице. Она вырвалась от него и бросилась бежать. Отец выстрелил в нее, как если бы она была неверной женой. Он убил свою дочь. Что это было — месть? — или попытка остановить то, что уходит без возврата, — привлечь к себе навеки то, без чего не может жить сердце?

Сролик слушал с удивлением.

— „Это не были евреи“ — сказал он, наконец. — „Это не по-еврейски — так чувствовать и поступать. В этих людях не было взаимного уважения, только слепая страсть“.

Врач усмехнулся. — „Ты прав, мой друг. Ты очень разумный и моральный человек, Сролик. Но берегись! Жизнь не так моральна, не так трезва и, главное, не так рациональна, как она должна была бы быть. Берегись, чтобы жизнь не отплатила тебе за твой рационализм какой-нибудь нелепостью, против всякого смысла. Берегись, чтобы жизнь не сыграла с тобой какую-нибудь жестокую шутку. Жизнь жестока, Сролик. Одно из двух: либо она недостаточно серьезна, — либо мы,

с нашей серьезностью и требованиями разумного порядка, не много значим перед лицом событий, превосходящих наше понимание“.

Два года спустя, мы находим Сролика в местечке Мейшагола, где он преподает иврит в местной школе. Он кончил гимназию, получил свидетельство учительских курсов „Тарбут“.

Мейшагола — еврейское захолустье. Он жил и столовался в семье Кац, взамен за урок детям. Была там и дочка, краснощекая Рейзеле, с черной толстой косой. „Может быть“ думала мадам Кац, поглядывая на молодого учителя, „может быть... кто знает?..“

Еще несколько лет... и от местечка Мейшагола, от мадам Кац, от Рейзеле с черной косой и от самого Сролика не осталось ничего. Они прошли, пролетели, как ландшафт в окне курьерского поезда, летящего через пространство и время. Где теперь еврейское местечко Мейшагола из двух улиц со старой синагогой и рынком, где дважды в год происходили ярмарки, с деревянными домишками, где окна закрывались ставнями на болт, и с сарайчиками во дворах, где с лета был готов запас дров на зиму? Никого больше нет в живых из обитателей этих домиков. Рейзеле с черной косой пошла на газ.

В конце недели Сролик уезжал на субботу в Вильну, повидаться с семьей, товарищами, друзьями. В одну субботу ему не захотелось ехать, и он пригласил к себе в гости Рину, свою виленскую подругу. Рину называли „парой“ Сролика. Нельзя сказать, что он за ней „ухаживал“, — это не был стиль Сролика. Он не ухаживал за девушками, он с ними дружил. Рина была его лучшей подругой.

Рина — единственная, кто уцелел. чтобы много лет позже рассказать о том светлом, студенческом зимнем дне, когда сани скрипели по снегу, и мороз румянил

щеки. Бочка с водой замерзла в сенях. У входа в комнаты долго надо было отряхивать снег с ботишков и шубки. Был смех и радость встречи.

Не так просто было Рине приехать. В семнадцать лет не полагается девушке уезжать одной за город на целый день к молодому человеку. Рина обманула родителей, сказала им, что едет со школьной экскурсией. Сролик был старый друг. Ей было одиннадцать лет, а Сролику четырнадцать с половиной, когда они встретились в организации. Сролик был ее руководителем, сперва „мадрих“ом (инструктором), потом „мефакед“ом (командиром). Одиннадцатилетней девочкой он отводил ее за руку домой после вечерних занятий, по просьбе родителей. Дружба росла с годами. Он был мужествен и мягок, как старший брат. Он был ответствен за нее. Со слов Рины мы знаем, как они провели этот зимний день в Мейшаголе. Наверное, она не все рассказала, но мы удовлетворимся тем, что знаем из ее уст.

В комнате было тепло, уютно, интимно. Рина много ждала от этой встречи. Она была мила, как только может быть девушка в семнадцать лет. Она хотела быть счастливой, хотела быть любимой, как все в этом возрасте, и может быть еще немножко больше. Она была горда тем, что Сролик ее выбрал. Вечером, когда она входила в клуб Бетара, товарищи Сролика шутили: „Смотри, твоя девчонка пришла“, и это было приятно, хотя немного неловко.

Главное же было то, что неловкость проходила, когда они были вместе. Тогда они были очень хорошие, очень близкие товарищи. Рине случалось получать письма от Сролика, например, когда он уехал в Краков на краевой съезд. Письма были деловые, без всякой нежности, и каждое письмо, писанное четким перловым почерком, начиналось словами: „Дорогая Рина“. За-

писка, которой Сролик пригласил ее в Мейшаголу, тоже начиналась „Дорогая Рина“.

В жарко-натопленной комнате был субботний покой. Пол чисто вымыт, коврик у постели. За двойными рамами горело зимнее солнце. — Слушай, Сролик, это нехорошо с твоей стороны писать мне „дорогая“.

— А как я должен писать тебе?

— Все мои подруги получают письма: „любимая“.

На это Сролик ответил с полной серьезностью:

— Девушки и друзья могут быть только „дорогие“. Ты мне очень дорога. Но любимая только одна: Ро-ди-на.

Рина открыла рот, и одно мгновение пораженно смотрела в лицо Сролику, в серо-голубые глаза, в самую середину зрачков... И вдруг ее охватил неудержимый смех. Они хохотали оба, держась за руки, как будто то, что он сказал, было только удачной остротой.

После обеда Сролик принимал посетителей. Пришли солидные, бородатые евреи, и Рина могла видеть, с каким почетом, с каким уважением и вниманием они относились к молодому учителю. Разговор шел о последних политических событиях, о положении в Эрец. Как дети, они слушали его, кивали головами, но сами говорили мало, а больше вздыхали о несчастьи народа. Тем временем солнце садилось за окном, короткий зимний день смеркался, и Рине было скучно, не терпелось. Несчастья народа — разве для этого она приехала в Мейшаголу?

Наконец, они остались вдвоем. Сролик вынул журнал „Медина“, центральный орган Бетара, выходящий в Варшаве, и начал ей читать передовую статью, сопровождая ее замечаниями и объяснениями. Голос его дрожал и прерывался, и в паузах он забывал, о чем читает. Потом он начал ей читать длинный доклад,

что такое НЕЙДЕР — обет, приносимый членами Бетара. — Он как-будто защищался от близости девушки и как щит подымал против нее номер журнала „Медина“ и принципы бетаризма.

Много лет спустя Рина вспомнила эту сцену наполовину с возмущением, наполовину с улыбающимся лицом.

Бывают положения, в которых молодые люди чувствуют свое превосходство над солидными старыми евреями из провинции, — и другие положения, когда заурядные, не очень серьезные и даже не достигшие совершеннолетия девицы оказываются сильнее самых ученых и самых идейных молодых людей.

Эпизод с Риной не оставил глубоких следов в жизни Сролика. Была также и другая встреча в его жизни, от которой на долгие годы осталась грусть, тайная мечта и резигнация. Мы ничего не знаем о его первой любви, которая вся осталась в тени, не воплотилась, не превратилась в правду жизни. То ли он был слишком беден, чтобы жениться, то ли был слишком занят, чтобы решать проблемы личной жизни. Одна и другая девушка ушли от него — с сожалением — но каждая ушла своей дорогой, не совпадавшей с путем, по которому шел серьезный и поглощенный внутренней потребностью служения Сролик.

Г л а в а с е д ь м а я

О Б Е Т

Сцена в Мейшаголе, когда девушка смотрела в глаза Сролику, прижималась к нему, ждала от него слов любви и обещаний, — а он начал ей рассказывать, что его единственная любовь — к Родине, была символической. Вместо клятв и уверений, вместо решения связать свою жизнь навеки с жизнью другого дорогого существа, — пришел день, когда Сролик принес другой обет — и принял решение, имевшее для него значение религиозной присяги.

Это была мистерия еврейского национализма, подобная посвящению в монашеский орден.

В середине 30-ых гг. единственная надежда сионизма была в молодежи. Еврейская масса в Диаспоре плохо верила в сионизм, в лучшем случае готова была жертвовать деньгами, но не жизнью. Сионизм как целое стал движением героической молодежи. Только молодые могли его претворить в дело. Одни из них, под влиянием социалистических теорий, стремились создать на территории палестинского мандата рабочий центр. Для них „кибуц“ — коммуна труда — стал самоцелью. Следующий шаг могла сделать только мировая революция. Мировая революция, однако, не интересовалась ни кибуцом, ни спасением еврейского народа. Молодежь, пошедшая по этому пути, скоро наткнулась на противоречие между конструктивной работой и внешними условиями, в которых успех одного только мирного и созидательного труда был заведомо невозможен.

Этот путь давал удовлетворение и выгоды отдельным группам и людям, но отвлекал в сторону массовую энергию и создавал опасную иллюзию. Неизбежно было искать выхода на другом пути — создания боевого движения, способного применить силу против силы. Цель сионизма могла быть достигнута лишь революционным преобразованием в самых основах еврейского существования. Жаботинский был человеком, который, поняв это, перестал спорить и начал создавать инструмент сионистской революции.

Историческим моментом, когда кончились споры, — был тот драматический момент, когда, стоя в кругу своих сорока товарищей, в зале пражского 18 сионистского конгресса 1933 года, Жаботинский, бледный и внешне холодный, порвал свой делегатский билет на глазах всех присутствующих. Вместе с ним он порвал свое сердце, порвал связь со всем своим прошлым и тем миром, с которым был органически связан. Отныне он мог полагаться на молодежь, и только на нее. Попытка привлечь к делу „солидные“ элементы в еврейском мире не удалась. Новая Сионистская Организация“, основанная им в 1935 году, успеха не имела. Для двух параллельных сионистских организаций не было достаточно крови в анемичном организме еврейства Диаспоры. Но молодежь была. Сролик не был единственным. В одной только Польше в те годы считалось 42 тысячи Сроликов в возрасте от 12 до 18 или 20 лет. Из них — только из них — можно было выковать кадры профессиональных революционеров. Постепенно образовалось ядро из людей, фанатически преданных сионистской революции, — подготавливался штаб из тысяч техников, инструкторов, специалистов, чтобы в решающий момент взять на себя руководство массовым движением.

„Нейдер“ — обет — приносили только избранные, наилучшие и проверенные. Из них составлялась эли-

та движения, и в их устах „нейдер“ был только увенчанием лет деятельности в службе идеи. Люди, в прошлом и настоящем послужившие движению, теперь принимали на себя публично и торжественно обязательство отдать ему все свое будущее, всю свою жизнь.

Нейдер давали только молодые. В нормальных политических условиях организация молодежи была бы дополнительной пристройкой к главному зданию взрослой партии. Взрослые воспитывают молодежь и готовят ее ко вступлению в „настоящую“ партию: таков нормальный порядок вещей во всех странах. Но Бетар очень скоро перестал смотреть на партию взрослых, на основанный Жаботинским Союз Сионистов-Ревизионистов, „Гацоар“, как на высшую ступень гражданского развития. Это были организации параллельные, и Гацоар не был высшей инстанцией по отношению к Бетару. Скоро образовалась между ними пустота. Гацоар не обязывал, Бетар обязывал. Гацоар был движением радикальной интеллигенции, которая никак не могла проникнуть в массы. Бетар был отпрыском массы. Жаботинский сравнивал молодежь с компасом, указывающим направление: компас находится в руках капитана, но не компас ведет корабль. Бетар должен был быть совестью, резервуаром силы для политического движения ревизионизма. Но в действительности молодежь скоро перестала оглядываться на старших. Бетар не готовился послать своих представителей в парламент, он хотел их послать на поле битвы. Гацоар оставался позади; — впереди была армия и восстание.

Жаботинского называли молодые „Рош-Бетар“: Глава Бетара. Для молодежи не имело значения, что он, кроме того, был главой Гацоара и „Наси“ — Президентом Новой Сионистской Организации. Для Сролика и его товарищей он был и остался на всю их жизнь — „Рош-Бетар“. И скоро почувствовал Жаботинский,

в качестве „Рош-Бетара“, что нет ничего опаснее и труднее, как управлять этой молодежью. Она вырывалась вперед, ждала от него вдохновения, а не торможения. В 1938 г., Шломо бен-Иосеф, бетаровец родом из Луцка, совершил первый террористический акт в Палестине. Он совершил его без приказа и ведома начальников, по своей воле. Здесь был поворотный пункт. Жаботинский в приказе, отданном после казни Шломо бен-Иосефа, санкционировал его поступок. Паренек из Луцка, террорист, пошедший на казнь, как на праздник, повел за собой Жаботинского и весь Бетар. Сролик, как адъютант Жаботинского, шел полшага за ним, соблюдая дистанцию. Но труп Шломо бен-Иосефа болтался над их головами на виселице. На него можно было смотреть только снизу вверх.

В один из дней 1936 года выстроился торжественный „мисдар“ в зале виленского Бетара. Сотни людей стояли во фронт. Перед ними стояли командиры в полной форме, с поясом и ремнем через плечо. Внесли знамя. По одному вызывали приносящих „нейдер“. Каждый наизусть произносил текст присяги, и уполномоченный центра каждому прикалывал на грудь против сердца значок: скрещенные серп и меч на щите.

Сролик произнес свой „нейдер“ спокойно и негромко, но в тишине было слышно каждое слово.

— Я посвящаю свою жизнь воскрешению Еврейского Государства с еврейским большинством по обе стороны Иордана — к е д м а в е я м а — на восток и на запад — сказал Сролик.

Наступила пауза, и глаза всех присутствовавших были прикованы к худощавой фигуре, стоявшей перед фронтом.

— И подчиню интересу Государства мой личный интерес, интерес моей семьи и интерес класса.

— Иврит будет языком моим и моих детей как на Родине, так и в Диаспоре.

— Силу моей руки отдам для защиты народа, — и только для его защиты.

— И буду стремиться к гадару во всех помышлениях моих, в речах и делах, ибо я царского рода.

— Куда ни призовет Бетар — в легион, на труд, на Родине и в Диаспоре, близко и далеко, я приду.

— И буду послушен законам Бетара и приказам его командиров, как голосу собственной совести, ибо закон Бетара — эхо моей души, и его командиры призваны мною.

И этот обет, с его семью заповедями, каждая из которых обдумана и постановлена мною, — я приношу с полным сознанием моей ответственности.

Таков был текст „нейдера“, который, с одним важным изменением, и по сей день остается в употреблении и полностью напечатан на последней странице бетаровского удостоверения.

Прислушиваясь к спокойному голосу Сролика, медленно повторяющему каждое слово, мы различаем в тексте присяги три ступени — три повышения, которые в их внутренней связи и последовательности, может быть, не каждому приносившему присягу были ясны в то время. Но вместе они несли печать духа их автора — печать, которую принял на себя Сролик, как знак новой гражданской религии.

На первой ступени это был национализм: государство, два берега Иордана, и подчинение всех интересов личных и классовых — интересу народа. Отклонение примата класса в эпоху, когда все движения в Европе говорили классовым языком или, по крайней мере, имели классовую окраску, — делало из „Нейдера“ декларацию национализма. Но понимали ли мальчики, произносившие его, каким силам, — каким могущест-

венным факторам в мировом и еврейском масштабе они бросают вызов?

— На второй ступени это был аристократизм, в удивительном противоречии к жалкому упадку еврейского народа. — „Я — царский сын“ — сказал Сролик, как будто это было самой обыкновенной вещью, точно не было на свете презрения и ненависти, смеха и глумления, которыми окружали все, что было ему дорого, не только враги-чужие, но и свои — евреи, потерявшие уважение к себе.

— на третьей ступени декларация личной гордости доходила до зенита. Это уже больше не был национализм, не была гордость сына старого исторического народа, связанная с воспоминаниями. В последнем счете решает моя совесть и моя воля. Я за все отвечаю. Командиры посланы мною. Я не „принимаю“ семь заповедей Бетара, я их „постановляю“. Закон Бетара — лишь эхо моей души, весь национализм оканчивается делом вольного выбора личности. Нейдер Сролика — был прокламацией титанизма, который подымался над историей, потому что последний его мотив был не в завещании прошлого, а в постановлении безгранично-свободной индивидуальности.

Понимал ли Сролик и его товарищи, чем этот странный и единственный в своем роде „нейдер“ отличался от всех других партийных присяг времени?

Г л а в а в о с ь м а я

СРОЛИК И ЦАРИЦА ЭСТЭР

Весной 1936 года вызвали Сролика из Вильны в Варшаву и поручили ему заведывать Отделом Культуры при Краевом Командовании („Нецивут“) Бетара. Центральное Управление („Шильтон“) Бетара находилось тогда в Лондоне.

Сролик принял назначение не без страха. Он не чувствовал себя достойным, сомневался в своих силах. Но, в конце-концов, он был одним из многих тысяч, пришел снизу, и как высоко он мог подняться в службе великого дела, — могла решить только сама практика. Сролик приступил к работе.

Четыреста километров отделяли Вильну от Варшавы, но это был переход в новый мир. На Твердой 24, в шести комнатах „Нецивут“а Сролик чувствовал себя как на капитанском мостике большого корабля, в ночь и бурю пробивающего себе дорогу вперед. В Вильне был глухой трюм, куда шум бури доходил издалека, как в запертое помещение. Здесь раздвинулись горизонты, и прояснилась общая картина.

Варшава была первой европейской столицей, куда попал Сролик, и это было больше, чем центр польского еврейства; здесь был один из мировых центров еврейского народа. Триста пятьдесят тысяч евреев жило здесь, а в ста тридцати километрах расстояния в Лодзи — еще четверть миллиона. Но, как бы ни была велика эта концентрация городского еврейского населения, —

напор враждебной стихии был еще больше. Днем не утихал на улицах Варшавы прибой человеческих волн, вечером — в ярком искусственном свете неонов все контрасты, противоречия и искушения обозначались яснее. Варшава была прекрасна и безобразна, элегантна и легкомысленна, как славянский Париж, мучительна и тревожна, как ночной кошмар. Варшава носила нарядное платье с подолом в грязи. Запах кофе и пирожных из зеркальных окон кондитерских мешался с запахом человеческого пота и клоаки. Средневековые вмешивалось в современность. Предместье столицы называлось **ВОЛЯ** — свобода. Приближаясь к столице, поезда проходили подгородные станции с веселыми названиями как музыка: „Радость“, „Любовь“ — музыканты входили в купэ и играли, — но эти музыканты были нищие, и пассажиры часто не знали, что принесет им завтрашний день.

Улицы еврейской Варшавы были черны от масс людей, одетых в долгополые черные кафтаны, с плоскими черными картузами. Эти люди ползали, как раздавленные насекомые, или как муравьи разбегались во все стороны, как бы ища выхода из гигантской западни. За Саксонским садом и Театральной Площадью начинался город, где евреи не имели прав гражданства. Этот другой город был полон блеска. Чудесны были парки и дворцы шляхетской и патрицианской Варшавы, лебеди плавали в пруду Лазенок, и радуга Шопэна как мост стояла над Польшей и Францией. Но три с половиной миллиона евреев жили в стране, как на вулкане, и для них Варшава была кратером, готовым поглотить все живое. Жаботинский перед первой мировой войной сказал: „**Над Вислой живут два народа**“, — но Сролик видел, что эти народы не жили в любви и гармонии. И тридцать лет позже тот же Жаботинский превозгласил необходимость эвакуации — массового исхода евреев из Польши. Как можно было, однако, тронуть с места эти инертные массы, как можно было сыпучий

песок облечь в форму гранита и придать ему твердость алмаза? Сролик видел трудность задачи, видел, что выход этих масс, единственный выход в страну Израиля, был закрыт. Своими силами они не могли пробить его. Кто-то должен был для них пробить дорогу спасения.

Сролик присягнул отдать силу руки для защиты народа. Как можно защищать народ, который сам не хочет защищаться? — В Варшаве было ясно взаимное отношение сил. Бетар был обособлен, был в безнадежном меньшинстве. Времени оставалось мало. Что-то должно было случиться — и скоро.

Центральный **кен** Бетара находился на улице Лешно. Пять других помещалось на Муранове, Охоте, Праге, Окоповой и Теплой. В целом считалось в Варшаве около четырех тысяч бетаровцев, половина из них были дети. Сролик был ответственен за их воспитание, за идейную подготовку. Их сознание он должен был отточить, как острый нож, — но что разрезать этим ножом, когда и как пустить его в ход, это лежало за пределами его компетенции. Компетенция Сролика ограничивалась департаментом культуры.

Материально приходилось ему трудно. В Вильне были частные уроки, дом родителей. В Варшаве Сролик попал в условия политической богемы, которая только тем отличалась от артистической, что была лишена ее специфического шарма. Комнату нашел себе Сролик по той же улице, где помещалась „Нецивут“ — на Твердой 4. Там сожителем его оказался крепкий здоровяк, с грубым лицом и тяжелой челюстью боксера, с маленькими живыми глазками, которые светились энергией, но иногда становились странно грустны. Имя его было — Абраша Ставский.

Ставский и Эпштейн — два полюса Бетара. Нельзя было представить себе большей противоположно-

сти, чем деликатный и спокойный читатель книг с одной стороны, — и шумный картежник и охотник выпить, душа-парень, созданный для приключений и готовый на всякое опасное предприятие — с другой. Но оба они были из народа — два „литвака“ из гущи народной, связанные общей идеей и верой. Имя Ставского получило широкую известность после известного процесса в Палестине, когда был убит на взморье Тель-Авива лидер рабоче-сионистской партии Арлозоров, и Ставского обвинили в убийстве. Тогда голова Ставского понадобилась обвинителям, чтобы скомпрометировать движение, к которому он принадлежал. С трудом удалось ему добиться освобождения и уехать за границу. — „Книжки“ — сказал Ставский Сролику „не моего ума дело. Нордау и Жаботинский написали уже все, что надо. Что тут еще прибавлять? Я не из рассуждающих, я исполняю. Есть у меня впечатление, что идея так относится к делу, как рукоятка к ножу. Мы, молодежь, — мы сталь Израиля. Сталь нуждается в рукоятке, и вот что ты делаешь, Сролик: ты вставляешь нож, которым сам не владеешь, в рукоятку теории, приготовленной другими“.

Ставский был в постоянном движении, часто уезжал и ночевал вне дома. Одно время сожителем Сролика был молодой парень с узким лицом и женственной мягкой улыбкой. Это был Понемунский, человек, в руки которого было отдано заведывание нелегальной „алией“ — переправкой людей в Палестину. Другие члены „Нецивут“ были Перец Ласкер из Ченстохова, Яков Рубин, Менахем Бегин, с которым Сролик уже раньше встретился в Вильне. Из всего этого круга Бегин был самым молодым, всеобщим любимцем, восходящей звездой Бетара. Он заведывал организационным отделом, и это давало ему возможность держать в руках все нити, весь механизм движения. Однако, в 1936 году, когда Сролик поселился в Варшаве, он не нашел там Бегина. В это время Бегин на-

ходил в Дрогобыче, — маленьком городке в Галиции. Там он готовился к адвокатскому экзамену, — и другому экзамену, более важному для истории движения.

Трудно представить себе, в какой бедности жили эти люди. Приезжая из провинции, бетаровцы часто неделями оставались ночевать в партийном бюро на столах и скамьях. Члены Нецивут столовались все вместе в маленькой кухмистерской, где оказывали им кредит, т. е. кормили в долг. Не было денег на развлечения, не было времени подумать о себе. Сролик реорганизовал „кен“ на Теплой, редактировал „Медина“ рассылал циркуляры инструкторам, составлял материал для пропаганды. День его был занят с утра до вечера. Сролик жил и не жил в Варшаве, и двигался по ее людным и шумным улицам как заезжий гость, как прекрасный принц, недоступный, неприступный, отданный своим мыслям. Всегда на расстоянии. Вокруг него образовался круг институтского обожания, девочки-подростки из его „кена“ ходили за ним толпами, ждали, когда он покажется на улице после работы, бегали за ним и старались обратить на себя его внимание. Но он оставался неприступен и холоден как лед.

В это время Сролик неожиданно для себя впутался в конфликт с ортодоксально-религиозным крылом Бетара, которое под именем „Брит-Иешурун“ пользовалось значительной автономией. Особой, которая чуть не стоила Сролику его поста руководителя Отделом культурной работы, — была Царица Эстэр. В одной из своих публикаций, посвященной празднику Пурим и объяснению его национального значения, Сролик непочтительно отозвался о той, кто во все времена был близок сердцу народа, о кроткой красавице и верной заступнице народной Эстэр. Сролик ее дисквалифицировал в качестве „бетарки“. Надо ли объяснять, что в этом отношении к героям „Мегилат Эстэр“ (Книги Эсфири) Сролик был не один, — он только повто-

рил то, что многие другие из критиков-просветителей и людей вольной мысли высказали об этой чудесной легенде, удостоившейся быть принятой в канон св. Писания. Нет нужды защищать перед Сроликом царицу Эстэр, которая победила сердце персидского царя, но с течением веков стала любимой царицей еврейского народа. В оправдание Сролика надо сказать, что пример ее, конечно, не годился для тех девушек, которые в Бетаре стояли „во-фронт“ и „вольно“ и проходили военную подготовку. Он все-же уцелел, несмотря на яростные протесты, но этот эпизод показал ему, с какими трудностями связана идеологическая подготовка национальной молодежи.

Сролик колебался между прошлым и будущим, между традицией и революцией, между улицами еврейской Варшавы и воздушными замками, которые рисовало ему воображение, — между Пятикнижием и свободной мыслью современного человека. Была в его жизни суровая простота, с какой принимаются все лишения во имя прекрасного идеала, была беззаботная легкость молодости, — и вместе с тем трепетная нервность птицы, в каждое мгновение готовой раскрыть крылья к далекому полету.

Была ночь, когда он долго не мог заснуть в своей бедной комнате на Твердой. Он лежал на спине, закинув руки за голову, утомленный и тревожный, и думал о том, как трудно снять черный кафтан с души и тела поколения — кафтан, который не годится для яркого солнца и жаркого климата Страны Израиля — и в то же время не нарушить уважения к традиции и любви к прекрасным образам прошлого. Он думал и снова возвращался к своим мыслям, пока они не закружились на одном месте, и в темноте кто-то отворил дверь. Он поднял голову. — „Кто там?“

Трудно поверить, но пред ним стояла царица Эстэр. Она была высока и стройна, вся в белом, золотой

венец сиял на ее голове, и волосы выбивались из-под покрывала темной и ясной волной на плечи. Платье ее было обшито цветной каймой, на шее горело ожерелье из яхонтов, и вся она благоухала, как в ту ночь, когда ввели ее в спальняй покой царя, после шести месяцев мирры и шести месяцев ароматов. И когда она начала говорить, Сролик затрепетал, ибо, странным образом, в ее голосе звучали голоса всех женщин, которых он знал, и любил, и избегал их.

— Сролик — сказала царица Эстэр — зачем ты преследуешь меня?

Было долгое молчание, и лунный свет распространился по комнате. В открытое окно входил шум ночного города, медленно звонил трамвай за углом, и копыта лошади цокали по асфальту, стихая в дали: цок- цок - цок - цок...

Сролик не отвечал, но все что он думал, и даже его невысказанные полумысли, сразу отражались в глазах царицы Эстэр.

— Ты царский сын, я знаю, укрытый в народе, в бедности. Но и я ведь была бедной сиротой. Я царица Изгнания, чужие полюбили меня, но даже в плену я не отреклась от моего народа.

Сролик не отвечал, но все, что он думал, и то, что не успел подумать, отражалось в огромных прозрачных глазах царицы Эстэр.

— Мудрецы оскорбили меня и называли поносным именем, но простецы приняли меня. Именем моим называются госпитали в Государстве Израиль. Меча не знали мои руки, я женщина, Сролик. Простишь ли ты мне царскую роскошь золотых и серебряных лож и помостов, выложенных камнями зеленого цвета, и мрамора, и перламутра, и камней черного цвета? — Помни, что я была избрана, чтобы стать орудием чудесного спасения. Кто поймет пути судьбы, кто прочтет жребий твой и жребий народа?

Сролик молчал, но не сводил глаз с сияния на лице царицы.

— Ты горд, Сролик. Так подобает царскому сыну. Ты не хочешь моей помощи. Но ты не избежешь ее. Куда бы ты ни пошел, я последую за тобой. Ибо связаны вместе — по жребию — сила и хитрость, грех и чистота, невинность и женская прелесть, праведность и любовь. Я люблю тебя, Сролик... ты еще увидишь меня.

Тогда смешались вместе лунный свет и темные, светлые, мягкие, легкие косы царицы Эстэр. Сролик почувствовал их вокруг горла и на лице, ему стало нестерпимо-душно, и он протянул руки. Но даже и в эту минуту он не знал, что делает: отрывает ли от себя ласку наложницы из Суз, с ее сторожами и евнухами, — или кладет голову ей на колени и как малое дитя покоится под ласковой рукой старшей сестры.

Глава девятая

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В описываемое нами время нацивом Бетара в Польше был Арон Пропес.

„Эпоха Арона Пропеса“ в истории польского Бетара — это десятилетие между 1929 и 39 годом, — последнее десятилетие перед окончательной катастрофой, пред гигантским взрывом, пред заревом пожара, охватившего Европу от Нарвика до Ливийской пустыни и от Пиренеев до Волги.

Миллионы еврейских жизней сгорели в этом пожаре, но гитлеризм не пришел к ним неожиданно, не вспыхнул, как атомная бомба, уничтожающая все живое в дробную часть секунды и прежде еще, чем сознание отдаст себе отчет в том, что произошло.

Нет более легкого и милостивого перехода в небытие, чем на крыльях атомного взрыва, который с космической силой переходит все границы человеческого и нечеловеческого, выносит по ту сторону представлений о нормальном и ненормальном. Испепеленные атомным взрывом люди не успевают узнать, что их жизнь пришла к концу. — Но в то последнее десятилетие, когда нацивом Сролика был Арон Пропес, беда росла и была видна издалека. Это было время постепенного нарастания смятения и ужаса, когда нагромождались разочарования, и непрерывно происходило внутреннее перерождение моральных тканей в ожесточенной, опустошенной душе поколения.

Никогда не пошел бы Сролик по пути, который привел его к трагическому концу в чужой и далекой

стране, если бы не тень, павшая на Европу, огромная ночная тень, со всех сторон окружившая его маленький мирок. Страшно было то, что происходило в России: террор, лагеря, насилие над душами, попрание правды. Еще страшнее то, что случилось в Германии. Душа каменела. А самым страшным было то, что народ и общество, униженные на Западе, растоптанные и лишенные своего лица на Востоке, не находили в себе мужества протестовать и бороться. Не было меры их падению. Они мирились со всем, принимали и оправдывали софизмами все, что не касалось их непосредственно. Все преступления Сталина находили ярых защитников в среде еврейского народа или покрывались молчанием, или, в лучшем случае, вызвали дешевые чувства сожаления и смирения пред неизбежным. Все преступления Гитлера не могли вызвать в еврейской душе того отклика, который бы заставил ее выйти из оцепенения. Жизнь продолжалась попрежнему, вяло влеклась из дня в день.

Это было нестерпимо. Сролик чувствовал, что так больше жить нельзя. Он хотел бороться. Душа в нем каменела и леденела, но под внешней холодной оболочкой было пламя, живой огонь. Сролик хотел воевать, — и прежде всего воевать против сонного равнодушия еврейской массы к вопросам жизни и смерти, против преступной слабости официального сионизма, которая привела к тому, что люди были пассивны на всех фронтах, — в Европе пред лицом надвигавшейся смерти, в Палестине перед английской, бесчувственной к еврейской нужде, политикой. Поэтому одел Сролик мундир Бетара и вступил в организацию, где начальником его был ученик Жаботинского — Арон Пропес.

Арон Пропес был очень спокойный человек.

Это был рижанин, говоривший по-русски. Сионизм его был так же спокоен, холоден и сдержан, как и его голос и манера держаться. Глуховатый голос его

точно доходил издалека, из той „нормальной“, — до-сталинской, догитлеровской — эпохи, когда от Риги до Одессы разъезжали по еврейской черте оседлости бродячие проповедники всероссийской сионистской организации. Арон Пропес никогда не подымал голоса, не выказывал следов волнения. Бархатные красивые ресницы были опущены, глаза непроницаемы. Вежливость, корректность, холодок. Не трибун, а администратор. Он не подпускал к себе близко людей. О нем говорили, что он имеет знакомых, но не имеет друзей. Как строят дом, так он строил Бетар, — по плану, и следил, чтобы дом этот содержался в полном порядке. С Бетаром была связана вся его жизнь, и он хотел, чтобы Бетар был не обыкновенным домом, а дворцом или замком, полным необыкновенного блеска и великолепия. Еврейскому народу — ме д и н а, государство, борцам и героям — ме ц у д а, крепость. Арон Пропес строил крепость в Галуте. Но Бетар был жив, рос, как непослушное дитя, и настал день, когда „движение переросло Пропеса“. Движению, которое чувствовало себя, как войско на походе, был нужен командир, а не строитель замка и воспитатель молодежи.

В начале тридцатых годов Пропес выполнил свою задачу, организовав десятки тысяч молодежи в рамках движения, созданного Жаботинским. На это ушел ряд лет, время с 29-го до 36 года. С 1936 года все внимание Жаботинского было посвящено созданию Новой Сионистской Организации. В самом этом названии содержался вызов. Со времени смерти Герцля в 1904 году все силы, все партии сионистского движения были объединены вокруг дела мирного строительства в Палестине — при всех, даже самых неблагоприятных политических обстоятельствах. Жаботинский — политик чистой воды — поставил себе огромную задачу: заново переорганизовать массы галутного еврейства вокруг идеи Еврейского Государства. В этой политической задаче молодежь должна была ему помогать, и со

временем должны были выйти из нее политические и военные кадры для решительного столкновения с враждебными силами в Палестине. Жаботинский был единственным из лидеров сионизма, без иллюзий смотревшим в лицо будущему. Он знал, что мирное сожительство с британской властью и арабами в стране Израиля скоро придет к концу, и что мирный труд в этой стране будет парализован так же, как он парализован и невозможен в странах Галута, если не произойдет своевременно перелома в сознании и методах сионистского движения.

Но Жаботинский не предвидел темпов развития. Он апеллировал к еврейскому народу, к миллионам обреченных на гибель. Организованная в Бетаре молодежь не имела времени ждать. Она чувствовала себя призванной к немедленному действию. Выборные кампании, плебисциты, петиции ей не импонировали. Она ждала, чтобы ей сказали, что надо делать. — „Ждать“ — эту песню она слышала со всех сторон. Вся еврейская история двух тысячелетий была одним сплошным ожиданием. Ждали чуда, — но чудес не случалось, все чудеса были в прошлом. Также и кибуцники, отправлявшиеся в 30-х годах в дорогу с красными знаменами и пением Интернационала, ждали своего чуда, — победы мировой социальной революции. В ожидании этого чуда они пахали палестинскую землю и доили коров в тиши своих хозяйств, пока волны потопа приближались все ближе и ближе к европейскому материку, который они оставили. **Ми баз лейом ктанот?** — кто презирает малые дела? — спрашивал поэт. Гитлер с одной стороны, Сталин с другой — пренебрегали их малыми делами, темп исторической трагедии все ускорился, и Сролик не видел выхода.

— Где выход в открытое море истории для корабля Бетара? — спрашивал себя Сролик. Смысл политических планов Жаботинского, опять таки, в конечном счете, сводился к тому, что надо выжидать. В кабинете

Пропеса сидел Сролик и спрашивал: **ад матай?** — до-коле? Ждать, пока Новая Сионистская Организация вырастет в реальную силу в диаспоре? — Для этого нужно было поколение. Ждать, пока до сознания еврейских масс дойдет проповедь Жаботинского? Ждать пока англичане изменят свою политику в Эрец? Ждать, пока Гитлер сменит гнев на милость, а Сталин признает право евреев дышать и жить по своему? Ждать? Опять ждать? — Собирать подписи под петициями, доказывать, произносить речи? Когда время не ждало, и ангел смерти уже перешагнул порог, уже был внутри дома...

Израиль Эпштейн очень уважал Арона Пропеса. Он видел в нем не только своего начальника, но и старшего, опытного, верного товарища. — „Что будет, нацив, если мы не убедим их? — Ты веришь в то, что мы тронем с места Налевки, Сохнут, кибуцников с красными флагами, английские власти? — Ты веришь в это? — Ты веришь в то, что мы их убедим?“

И тогда слышал Сролик в ответ теорию о „попутной буре“. Теорию „чем хуже, тем лучше“. Теорию, в которой здоровый реализм Жаботинского сочетался с отчаянной надеждой, что даже смертельную опасность можно использовать для блага сионизма. Моторы сионистского корабля были недостаточны, надо было поднять паруса и ждать попутного ветра. Но и попутного ветра было недостаточно, чтобы снять сионистский корабль с мели, куда его привели косность масс и ошибки руководства. Нужна была попутная буря.

Ураган истории должен был прийти нам в помощь. Сролик должен был понять, что не только грубый антисемитизм, погромная ненависть, — а нечто большее, объективный процесс, глубже и сильнее воли людей, со стихийной силой вырывал еврейский народ из земли Галута, как дерево с корнями. Надо было только быть наготове, чтобы направить этот разрушительный

процесс в русло организованного сионистского движения. Не по нашим силам вырвать дерево с корнями, мы только должны сберечь корни для новой посадки. Герцль ждал содействия от царского министра Плеве, — но царизм был слеп, Плеве был глуп. Жаботинского зато слушали с уважением польские министры, которые в нем видели „еврейского Пилсудского“. Итак, если мы не могли надеяться воздействовать на темную еврейскую массу и ее слишком умных менеджеров-бюрократов, то, — может быть, — можно было убедить явных и скрытых антисемитов в Восточной Европе и попытаться договориться с ними?

Это было ясно, это было понятно Сролику, в этом было что-то. Но все-еще это не давало ответа на вопрос „что нам, массовым людям, делать сию минуту?“ — На этот вопрос Пропес только пожимал плечами: „Будьте готовы, вас позовут“. — Но Сролик и его товарищи уже чувствовали себя готовыми, — они, как зрелые плоды на дереве, не хотели опасть бесполезно на землю. Для них „попутная буря“ была только словом. Им нужно было другое слово, нужен был сигнал восстания... Но сигнал не приходил.

„Шоколадные солдатики“ — так в это время стали называть одетых в коричневые рубашки молодых бетаровцев иронические свидетели этой странной игры в военное обучение молодежи, отрезанной от Эрец-Исраэль. Отрезана была вся еврейская молодежь, сертификаты доставались немногим избранным, но „шоколадные солдатики“ были отрезаны от участия даже в этой официальной, дозволенной алии нескольких тысяч в год. В этих условиях какой же смысл имело „размахивать деревянными мечами“? Над ними издевались, возмущались, негодовали: еврейская молодежь играет в солдатики вместо того, чтобы заниматься полезным трудом.

Пришло время, когда „размахивание деревянными мечами“ перестало удовлетворять и самых шоколадных

солдати́ков. Подходила к концу эпо́ха Аро́на Про́песа, подгото́вительная эпо́ха, в течение которой Бетар окреп и сложился в массовую организацию. Рядом с „Бетаром“ стоял „Брит-Гехаял“ — организация нескольких тысяч резервистов, прошедших военную подготовку в польской армии. Обе эти организации одинаково были приведены в тупик, который надо было пробить силой, чтобы дать выход накопившейся энергии.

Бетар должен был перерасти во что-то другое, как перерастает ребенок во взрослого человека. Но ни „Брит-Гехаял“, ни какая бы то ни было другая „взрослая“ организация не могли дать ответа на вопрос: „что делать?“

Пустота образовалась в движении, но из этой пустоты должна была прорваться новая жизнь. Назревали огромные, мучительные роды. В этот момент многие из юношей, выросших в движении, переживали внутренний кризис: временно отходили в сторону, отстранялись от участия в работе, как бывает с людьми, которые, готовясь к прыжку, отходят назад, — для разгона. Пауза наступила и в жизни Израи́ля Эпштей́на. Он принял решение вернуться в Вильну и поступить в учительский семинар. Он — „культурник“ — чувствовал, что еще мало знает. Он — бетаровец — всем своим существом ощущал необходимость нового начала.

Весной 1937 года „прекрасный принц“ уложил свои вещи и книги в небольшой чемодан и поехал трамваем на Прагу, Виленский вокзал. Девушки из Бетара поднесли ему на прощанье букет из белых роз. Он не знал, что с ним делать, шипы кололи ему пальцы. Поезд тронулся, и он долго стоял в окне вагона третьего класса, улыбаясь провожающим, прямой как свеча, прижимая белые розы к груди.

Глава десятая

АЛИЯ - БЕТ

В том самом году, когда Сролик вернулся в Вильну и возобновил свои занятия в учительском семинаре, начало за его спиной подыматься, расти и разворачиваться со стихийной силой движение среди бетаровской молодежи, которому Жаботинский дал название „национального спорта“.

Это было движение нелегальной алии, „алии бет“, имевшее целью пробить дорогу в Эрец для всех тех, кому британская власть отказывала в доступе на родину.

Десять лет позже, в других обстоятельствах, когда по окончании войны британская власть продолжала упорствовать в своем отказе пред лицом нужды сотен тысяч человеческих обломков после величайшей катастрофы еврейской истории, — эта самая „нелегальная алия“ стала боевым лозунгом и главным содержанием мощного мирового сионистского движения. Тогда нашлись миллионы долларов, тысячи инструкторов, десятки кораблей под водительством испытанных капитанов, — и вся Европа покрылась сетью каналов, по которым шел человеческий поток через все границы и преграды. Весь мир тогда обошла весть об эпопее „Исхода из Европы“.

Об этой алии уже сегодня может вынести историк свой приговор: **слишком поздно и слишком недостаточно**. Поздно, — после того, как еврейский народ уже

понес свои кровавые и непоправимые потери. И недостаточно, — ибо к тому времени, когда „нелегальная алия“, наконец, нашла одобрение в глазах официальных сионистских руководителей, иначе и крепче били по врагу те люди, которым в конце-концов суждено было проломать брешь в стене, построенной британским режимом в Палестине.

Поздно и недостаточно. — Но что нам сказать о нелегальной алии предвоенной, в те последние годы, когда буря еще только приближалась? — **Слишком рано и непосильно.**

Из среды Бетара тогда вышло движение не понятое, не поддержанное и отвергнутое теми кругами, которые должны были помочь ему. Слишком рано, чтобы еврейская общественность откликнулась, и слишком трудно, чтобы осуществить своими силами.

В 1931 году Бетар в Польше получил придел в 17 сертификатов. В следующие годы число разрешений на „легальный“ въезд было еще меньше. После разрыва с официальной Сионистской Организацией Бетар вообще потерял право на алию в Израиль. Создалось положение, при котором наиболее мятежные, крайние националисты не допускались туда теми, кто распределял „сертификаты“. То, что Жаботинский называл „национальным спортом“, т. е. стихийное нарушение границ, замкнутых британским запретом, становилось опасным и нежелательным для руководителей сионистской политики. Бетаровцы не были желательным элементом с точки зрения того, что называлось „национальной дисциплиной“.

Нельзя без волнения читать летопись тех дней, каждый лист которой насыщен кровью и отчаянием. События превышали понимание политиков. В сущности, и формула Жаботинского о „национальном спорте“ ни в какой мере не отвечала серьезности положения. Дух авантюризма, смелого искания приключений, лич-

ная отвага могли привлечь к „алии бет“ часть еврейской молодежи, но проблема времени не решалась играючи. Слово „спорт“ не было ответом на звериное бешенство палачей, захвативших власть в Европе. Не даром ушел Сролик — воплощение серьезности и вдумчивости — именно в эти годы в учебу. В людях, подобных Сролику, лежало будущее национального движения, — но как молодая поросль дубков, они нуждались в подземной работе корней и в годах созревания.

И так случилось, что в один из дней ранней весны 38 года молодой бетари, за которым уже было звание „кацин нецивут“ — офицера штаба — снова оказался в родной Вильне и поднялся по лестнице старого дома в боковом переулке, чтобы занять место за школьной партой. Этот дом и его обитателей надо видеть на фоне приближающейся бури, надо видеть его рядом с кораблями полными беглецов из Европы. Европа полна бегущих, но в этом доме собрались будущие еврейские учителя — они не бегут. Каждый из них решает вопрос: „что такое мой народ, как глубоки корни еврейского духа в истории и во мне самом?“ — И здесь впервые встретился Израиль Эпштейн с другим Израилем, с Моревским, будущим учителем и наставником террористов в Палестине.

Моревский имеет за собой диплом доктора Венского университета, но его настоящая страсть и призвание — Библия, иудаизм и еврейская традиция, из которых он хочет вывести науку восстания. В Моревском горит темный огонь еврейской революции и вековой, тысячелетней еврейской обиды, которая должна, наконец, прорваться делом. Несмотря на то, что Израиль Эпштейн на лестнице бетаровской иерархии стоит выше, чем бетари из Гродны, — в семинаре он только его ученик, сидящий у ног учителя. И оба они — единственные националисты в виленском семинаре.

Таков профиль сионистского движения в последнем году пред катастрофой: Моревский — единственный, чудом просочившийся во враждебную среду учитель, представляющий идею сионистской революции в единственном учительском семинаре на всю Польшу для школ на иврите, — а Сролик единственный или почти единственный бетаровец среди 70 студентов. Большинство составляли члены „Гашомер-Гацаир“а — молодежь, проникнутая марксистско-ленинским духом, наивно убежденная в том, что сионизм представляет особую еврейскую дорогу к торжеству революционного социализма в мире. Эти молодые люди, сверстники Сролика, с религиозным уважением относились к сталинской России, о которой не имели никакого представления... но еще гораздо хуже было то, что они не понимали назначения сионизма в эти последние, считанные годы, которые им еще оставались. Слова о „эвакуации Галута“ или „еврейском государстве“ возбуждали в них насмешку. Сролик, открыто носящий значок Бетара, привлек их любопытство. В ненависти, которой тогда социалистические фанатики окружали бетаровское движение, было нечто родственное антисемитизму. Антисемиты, встречаясь с отдельными евреями, иногда были поражены их личными достоинствами и даже притягивались к ним против воли, в силу особой аттракции, какую имеет все необычное и „другое“. Бетар был заклеен, как „еврейская каррикатура фашизма“. Но всюду, где появлялся Сролик, создавалась вокруг него атмосфера уважения и симпатии. Молодежь „Гашомер-Гацаир“ испытала обаяние молодого бетари не меньше, чем его идейные товарищи. В конце-концов он был избран председателем коллектива учащихся. Возможно, что этого не случилось бы, если бы за ним стояла группа единомышленников. Тогда партийная ненависть и соперничество партий отравили бы отношения. Но в виленском семинаре Сролик был человеком вне счета, исключением. Коллеги

пробовали спорить с ним о марксизме, но скоро убедились, что этот странно-спокойный, невозмутимый человек был непроницаем для критики. Он знал науку о классовой борьбе и диктатуре — и не был тронут ею, как тот герой талмудического рассказа, который вошел в рай и спокойно вышел из него. Сталинский рай ничего не значил для Сролика.

Моревский, с худым лицом и острым носом, с колющим взглядом светлых глаз, точно сошел со страниц „Иудейской Войны“ Иосифа Флавия. Неистовый дух древних zelотов, с кинжалами бросившихся на римские легионы, жил в нем — вне времени, вне истории и логики. — „Да, против всего мира! Такими они нас видят, и недаром ненавидят. — Нет и не будет вовеки у нас общего языка — ни с теми, кто нас проклял, ни с теми, кто хочет увести в сторону, прочь от высот Синая. Все одинаково чужие! — гуманисты с их розовой водицей, демократы-предатели, палачи справа и губители слева. Нас одних, Сролик, они не сломают никогда. Их мораль — не наша мораль, их правда — не наша правда, их добро и справедливость — не наши. Вот здесь, на страницах Вечной Книги, сказано все, и каждое слово в ней закон. А все остальное — яичная скорлупа, солома на ветру. Стой твердо, не поддавайся! Отступишь на один только шаг, на одну йоту, — и ты потерян“.

Это неистовое горение было не по мере Сролика, но он чувствовал товарища и брата в Моревском. А тем временем, пока двое молодых участников семинара погружались в страницы древних книг, ища в них тайну жизни вечного народа, — товарищи их приступили к первой серьезной атаке на британскую законность в Эрец. Задача заключалась в том, чтобы всеми путями перевести в страну максимальное количество евреев вопреки запрещениям. Скоро потянулись к побережьям Натании, Тель-Авива и Газы воровские ко- рабли с человеческим грузом.

Затруднения были огромны. Два аспекта были у „алии бет“ — политический и гуманитарный, и, как всегда в подобных случаях, преобладал политический подход как у организаторов, так и у противников. Не было денег. Напрасно зывали организаторы Алии бет к еврейской совести и чувству ответственности. Против них всем своим весом действовал авторитет официального сионизма. Нелегальная алия казалась каким-то преступлением против призванного руководства сионистского движения, и потому в помощи отказывали даже „пост фактум“ — тем, кто нелегальным образом прибыл в страну. В одном из любопытных документов времени, в письме лондонского секретаря комитета помощи, адресованном Новой Сионистской Организации 26 июля 1938 года, мы читаем:

„На заседании правления комитета помощи немецким евреям мы снова и серьезно обсудили вопрос о помощи 380 олим, недавно перевезенным вами из Австрии в Палестину. Правление категорически против всякой неустроенной и неорганизованной алии без необходимых удобств для едущих. Правление никоим образом не может поощрять нелегальную алию и потому не может исполнить вашей просьбы“.

Так реагировала еврейская общественность на отчаянные попытки в последние месяцы, которые еще оставались пред катастрофой, спасти людей, над которыми уже навис призрак уничтожения. Не было средств на покупку собственных кораблей. Поэтому нелегальных перевозили на судах последнего сорта, какие только удавалось зафрахтовать, и вверяли их судьбу чужим людям, заинтересованным в легкой наживе. Не было денег на снаряжение и организацию, — и как следствие алия бет принуждена была обходиться без тех „удобств“, в отсутствии которых укоряли ее лондонские филантропы. Мало кто из них понимал, что речь идет о спасении людей в буквальном смысле

слова от гибели, и нелегальная алия давно уже вышла из границ партийной политики и стала стихийным явлением, которое надо было регулировать, приходя в помощь каждой отдельной попытке. Теперь, задним числом, нам ясно, что в последние годы перед мировым взрывом единственными людьми, которые в еврейской Варшаве и Вене, в Румынии, Италии и Греции, делали полезное и нужное дело среди всеобщей растерянности, потерянности и пассивности — была эта горсточка всеми отвергнутых бетаровцев.

Кто еще помнит эти имена? Понемунский и Абраша Ставский в Варшаве, Мордехай Кац в Вене, Эри Жаботинский и Моше Галили, десятки других, внесли новую жизнь в Бетар. В последних числах августа 1939 года нелегальный транспорт „Парита“ с 850 пассажирами из Польши и Центральной Европы — последний транспорт пред началом войны — выбросился на отмель на побережье Тель-Авива. Общее число нелегально переправленных к этому времени дошло до десяти тысяч. Это число можно было бы упятерить, удесятить, если бы ответственные руководители еврейской общественности исполнили свой долг. Но все, что было сделано, — было сделано против их воли.

Два центра нелегальной алии существовали в Варшаве.

В маленькой комнате при „Нецивут“, краевой комендантуре Бетара, на Твердой 24, Понемунский с товарищами готовил в дорогу сотни бетаровцев. А за их плечами Абраша Ставский начал организовывать исход тысяч. Абраша не делал разницы между кандидатами: „Кого угодно пошлю!“ И брал сколько удавалось с евреев, под ногами которых горела земля, которым больше нечего было ждать и не на что надеяться. За их деньги посылали неимущих бетаровцев, которым неоткуда было взять 600 злотых на дорогу. Стиль Абраши был далек от стандартов лондонских джентль-

менов. Все пути и средства были хороши. Он начал с того, что привез в Варшаву 12 спортсменов-мотоциклистов из Эрец и женил их на 12 девушках, которые таким образом получили право въезда в Палестину. Из Варшавы он свез мотоциклистов в Ригу, где они приписали к своим паспортам еще раз 12 жен. Из Риги рукой подать в Ковно. Там мотоциклисты поженились в третий раз. После этого Абраша завербовал группу портовых рабочих в Хайфе и повез их жениться в Польшу. Раввины закрывали глаза на формальности, понимая, что речь идет о том, чтобы перевезти в Эрец несколько десятков еврейских женщин. Абраша Ставский не был великим вождем, и то, что он делал, не всегда согласовалось с требованиями строгой морали. Но где были и чем занимались в то время строгие моралисты?

Строгие моралисты донесли на Абрашу властям, что он занимается... торговлей живым товаром. В один прекрасный день он был арестован на улице Лешно в Варшаве, но, познакомившись с обстоятельствами дела, полиция освободила его.

Живой товар!

В описываемую нами эпоху это понятие изменило свой смысл. Торговля живым товаром перешла в ведение политиков. Все три с половиной миллиона польских евреев были живым товаром. Масса теряла человеческое достоинство и облик, превращалась в политическое сырье. Торговали головами. — „Отдайте мне евреев“ — упрашивал Жаботинский в польском Мин. Ин. Дел. — „Отдайте хоть еврейскую молодежь, позвольте им выехать без британской визы в Палестину, чтобы они могли пробить там дорогу для других, — для еврейской массы, которая не нужна вам“. Пять лет позже, когда С.С.-ман Адольф Эйхман потребовал за миллион евреев десять тысяч грузовиков и не получил их (слишком дорого!), торговля живым

товаром приняла еще другие формы. Но в 1938 году польское правительство готово было помочь нелегальной алии, которую бойкотировали официальные сионистские круги и проклинали строгие моралисты. Польское правительство давало освобождение молодым евреям призывного возраста и позволяло вывести по 16 фунтов стерлингов на человека. Люди Нецивута сидели в Варшавском Старостве и сами выставляли паспорта на выезд, которые потом чиновник подписывал гуртом не читая.

Люди уходили от проклятого навождения. От смерти в немецком застенке или каторги в советских „исправительных“ лагерях, еще не понимая размеров близящегося несчастья, но уже всем существом ощущая радость освобождения. Их высылали через порты Средиземного моря и Адриатики, через Констанцу на Черном море, снабжая всеми транзитными визами кроме последней, въездной. Пароходы ломались в дороге, это были жалкие развалины, скорлупы, баржи по 700-800 тонн, пловучие ночлежные дома, где люди помещались на нарах в три яруса, женщины и дети сверху, мужчины снизу, без медицинской опеки и часто без хлеба и воды. Чтобы попасть на такой пароход, люди ждали по году в польской или румынской провинции или получали отпуск из немецкого концентрационного лагеря под условием отъезда. Собирались стадом на итальянской или румынской границе и проводили томительные недели в ожидании пропуска в порт. Возле них, как мухи над сладким, собирались темные типы, кишели охотники поживиться, посредники нечистых дел, контрабандисты, профессиональные воры и взяточники.

Посадка производилась темной ночью, когда пароход разводил пары и до рассвета должен был исчезнуть. Подкупленная полиция в порту торопила, подгоняла, а в спящем городе метались люди Ставского,

подымая из постелей лавочников, закупая что попало, что можно: муку, сахар, сардины, брали горячий хлеб из печей, мешками валили на палубу. На суденышко в несколько сот тонн набивалась тысяча людей с рюкзаками и вещевыми сумами, налегке, точно их ждала увеселительная прогулка, а не рейд за тысячи километров в неизвестность.

Небо сереет на востоке, холодный ветер заставляет поднять воротник пальто, море беспокойно, волны бьют о мол, — а эти люди, едва поднявшись на палубу, берутся за руки и танцуют „гору“ — как на свадьбе. Комендант полиции, которого три недели уламывали пропустить этих людей, с изумлением всматривается в их пьяные от радости лица и говорит: „Теперь я понял. И я рад, что дал им возможность ехать“. Делегат Бетара благодарно жмет ему руку: если бы отъезд этих людей зависел от помощи лондонских и других комитетов, они бы не уехали никогда.

Летом 1939 года поэт Мечислав Браун, потрясенный трагедией своего народа, написал книгу стихов сионистского содержания. Это была единственная из его книг, для которой не нашлось издателя. Мечислав Браун не был в Палестине и не успел ее посетить ни легально, ни нелегально. Но эпопея кораблей, везущих на родину изгнанников, поразила его воображение. Он написал поэму под названием „Ассими“: так назывался один из кораблей, которые должны были войти в историю этого времени.

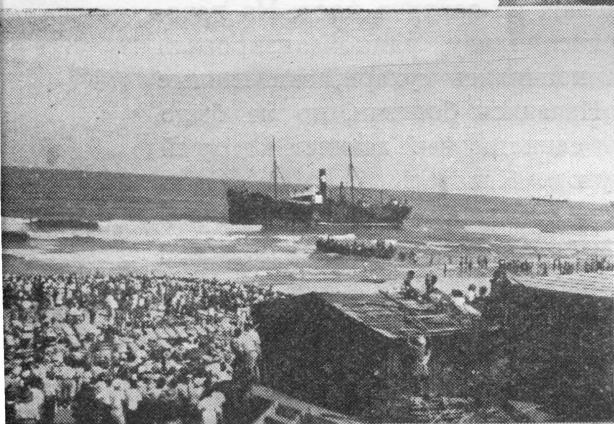
Эту поэму я слышал из уст поэта в последнее лето перед войной. Она была написана тяжелыми гекзаметрами, соединяла в себе величавость эпоса Гомера с лирической силой и подъемом сына нашего времени. Ее героем была масса, как на картине Рембрандта показанная в ночном освещении, в игре света и теней, масса в движении, как в процессе переселения народов полторы тысячи лет тому назад. Как серебряные трубы

над морем, звучала эта поэма. Но один ее эпизод запомнился мне особенно. На борту парохода „Ассими“ среди эмигрантов привиделась Брауну странная фигура в пелерине и шляпе с широкими полями, в старомодном шейном платке, какие носили в сороковые годы прошлого столетия. Эта фигура вызывает всеобщее удивление и любопытство. Пассажиры обступают ее, вглядываются в лицо с острой бородкой, которое кажется странно знакомым. Вдруг кто-то узнает его. Возможно ли? — Доктор? — Доктор Генрих Гейне с нами? — Автор Книги песен и Романцерио оставил Европу и возвращается к своему народу.

Дух Генриха Гейне на „Ассими“ — так видел алию бет М. Браун, поэт, погибший в непоэтическом варшавском гетто. Прекрасной казалась она ему и овеванной духом чистой романтики, как сон о свободе, вся в морской лазури и солнечном блеске... Но есть и другая версия. Ее передал мне приятель, который не сложил гекзаметров и не видел Гейне среди едущих, но сам проделал всю дорогу из маленькой французской гавани до берегов отчизны.

Было их триста человек из Польши и почти столько же из Румынии, остальные из стран Центральной Европы. Половина женщин, 16 малых детей. Поэтов не было с ними, но значительная примесь уголовных элементов. Какой-то 12-летний парнишка купил перонный билет в Варшаве и спрятался под скамейку. Его везли в Эрец и охраняли всю дорогу сообща. Не знали, как провести его на пароход без документов. В последнюю минуту Абраша Ставский обнял за плечи полицейского у трапа и загородил своей широкой спиной трап на одну секунду, пока мальчишка юркнул мимо между ногами взрослых. Ставский Абраша погиб девять лет спустя на пороге родины, на пароходе, который назывался „Альталена“. Его застрелили любители законности и порядка, но мальчик, которого он

...Пароход все же прибыл к берегу
той единственной страны,
где его ждали...



Транспорт „Парита“
на побережье Тель-Авива
(22 авг. 1939 г.)



Незаконные

заслонил своей широкой спиной, жив и находится в Израиле.

Пароход, на который погрузился мой приятель, не был „модерн“. Он был построен в 1865 году. Когда погрузилась на него тысяча человек, он выглядел, как пловучий улей. По мере того, как плавание затянулось, иссякли запасы и наступил настоящий голод. А плавание затянулось выше всех ожиданий — на шесть недель. По близости Кипра полагалось перегрузить еду-щих на другое судно и доставить их к палестинскому берегу. Это другое судно так и не пришло, и, покружив на месте несколько дней в напрасном ожидании, пароход ушел в турецкий порт Александретту. На пароходе не было телеграфа, кончались запасы угля, не было еды и воды. Ни в Александретте, ни в Смирне турецкие власти не дали разрешения на заход в порт. На пароходе ввели военную дисциплину, рационализировали сухари и воду. Когда кончились сухари, ели гнилые макароны с червями. Начались болезни, но не было врача. На пароходе был единственный дантист, который лечил все болезни луком. Началось скитанье вдоль малоазиатского побережья. Под Смирной лодки облепили пароход, они были налиты до половины питьевой водой, и в ней сидели босоногие турки-гребцы, ведрами черпали из-под себя воду и продавали за доллары и франки. С берега прибыл аферист, вызвался доставить припасы, собрал деньги и скрылся бесследно. Когда пароход прибыл в Родос, он вызвал сенсацию у итальянцев. Это был пловучий зверинец, полный обезумевших, голодных и грязных существ. Итальянские солдаты, со слезами на глазах, снимали с себя манерки с водой и отдавали еду, которую имели при себе. Случайная американская туристка на Родосе пожалела беженцев и послала им на пятьсот долларов подарков, но ей не пришло в голову, что люди не имеют хлеба, и она послала ящики с пивом, папиросы, арбузы, апельсины и фиги. Капитан не мог рисковать своим парохо-

дом, он повернул обратно, — снова в Смирну. „Су — экмек!“ кричали на смирнском рейде одичалые люди — „Су экмек!“ — „Хлеба и воды“ — „Золотые часы за буханку хлеба, за пачку табаку!“

Пароход все же прибыл к берегу той единственной страны, где его ждали, где приняли его пассажиров с ликованием и забросали цветами. Его пассажиры знают, что стоило им перенести все лишения, и не в обиду за плохую организацию. Если бы можно было тогда обменять на корабли все дома и товарные склады, все банковские счета и валюту еврейской Варшавы! Всю мануфактуру Лодзи, все серебро субботних подсвечников и рухлядь еврейских местечек! Грязная вода, в которую босые турки окунали ноги в Смирне, была слаще вина, и над пустыней Средиземного моря горело солнце свободы.

Израиль Эпштейн прилежно учился в Вильне. Сердце в нем горело, и он спрашивал себя: „как долго еще, как долго?“ Здание семинара, с его учащейся молодежью, напоминало ему задержанный в порту корабль, ждущий минуты, когда ему будет дана возможность выйти в открытое море. И часто, выходя из дверей семинара на виленскую улицу, он закрывал глаза, и ему казалось, что между камней мостовой течет вода, подходит прилив, размывает фундаменты, дома старой Вильны тонут, — и далеко-далеко за ними открывается морская дорога на юг.

Г л а в а о д н и н а д ц а т а я

МЕЖДУ БЕТАРОМ И ИРГУНОМ

Годы 1937 и 38 были переломным временем в истории Бетара. Они были переломными также и в биографии Сролика. Его биография связана с историей Бетара, неотделима от нее, теряется и не существует сама по себе. Сролик согласился бы без трудностей с такой оценкой. Но ему было бы гораздо труднее понять, что не только все, происходившее в Бетаре, составляло часть его биографии, но и наоборот: в его жизни выражался живой смысл Бетара — до такой степени, что повесть о Сролике тем самым есть повесть о Бетаре.

В последние годы перед войной молодежное движение начало перерождаться в боевое. „Шеколадные солдатики“ выросли. Эпоха марширования с деревянными палками безвозвратно уходила в прошлое.

Процесс созревания политического движения подобен превращению юноши во взрослого человека и всегда начинается с глубокого брожения. Как ни медленны и сложны подготовительные стадии, полны недоразумений, неловкостей и смешных ошибок, — всегда тот момент, когда юноша становится взрослым, памятен для него и бывает связан с каким-нибудь особенным событием или переживанием. Иногда это любовь, — счастливая или несчастная, но настоящая и открывающая жизнь, как ключом открывают запертую дверь. Иногда это — страдание или резкое потрясение, сразу меняющее всю перспективу жизни.

Бетар вышел из детского состояния летом 1938 года. Событием, которое закончило целый период исканий, блужданий и сомнений, была казнь Шломо бен-Иосефа в тюрьме Акко.

Наивный и простосердечный бетари из Луцка, с религиозным рвением относившийся к каждому слову своих учителей и наставников, вряд ли был достаточно взрослым человеком в то утро, когда он вышел на дорогу за Рош-Пиной с карабином в руках и — на свою ответственность — открыл стрельбу по арабскому автобусу. Почему он это сделал? — Потому что в течение двух лет автобусы с мирным еврейским населением обстреливались арабскими террористами, и падали жертвы без того, чтобы раздался ответный выстрел. Евреи были сыты по горло „пассивным сопротивлением“. Во всяком случае он плохо стрелял, никому вреда не причинил, и вся эта эскапада осталась бы незамеченным эпизодом без всяких последствий, если бы не классическая и образцовая в своем роде тупость британских властей. Вызванный на экзамен истории, Шлойме Табачник, один из массы, родной брат нашего Сролика, перестал быть смешным. Вся неловкость сошла с него, как сходит с молодого любовника нерешительность и смущение в минуту, когда обстоятельства ясно показывают ему, что от него требуется. Шломо бен-Иосеф сдал экзамен на аттестат зрелости — политической зрелости — всего поколения молодежи, воспитанной Жаботинским. „Революция сионизма“ перестала быть фразой и позой. Эта первая виселица, на которую луцкий парень пошел с бравадой, с великолепным презрением к смерти и полной уверенностью, что правда на его стороне, покончила все сомнения и убедила многих, кто еще топтался на месте.

В Эрец-Исраэль, где с апреля 1936 года не переставая лилась кровь, евреи столкнулись с противником, на которого не действовали слова и уговоры, и кото-

рого больше нельзя было игнорировать. Академический спор о том, могут или не могут цели сионизма быть достигнуты мирным путем, терял всякое значение пред лицом действительности, в которой всякое вообще мирное существование для поселенцев-евреев становилось невозможным. Уже не цель, более или менее отдаленная и с каждым днем все более отодвигаемая за пределы практической работы, а текущий день сионизма требовал вооружения. Так родилась „Хагана“ — организация вооруженной охраны, — и некоторое время еще продолжалась иллюзия, что еврейская жизнь в стране может нормально расти и развиваться под ее прикрытием, как если бы это был мол, о который разбиваются волны бушующего моря, в то время как он сам неподвижно и неколебимо преграждает дорогу волнам. Целью Хаганы была безопасность, не победа. Методом „Хаганы“ была „хавлага“ — воздержание от агрессивных действий.

Шломо бен-Иосеф не был первым, кто сломал принцип „воздержания“, так явно не сообразный с обстоятельствами. Первым был Давид Разиэль, кто 14 ноября 1937 года на рынке в Хайфе нанес ответный удар и вышел из границ простой обороны. Организация, во главе которой он стоял, была бетаровской по своему составу, но отдельной и самостоятельной по своему характеру. „Иргун Цваи Леуми“ — „Национальная Военная Организация“ — вышел не только из „Хаганы“, которая ограничивалась защитой позиций под ударом; было совершенно неизбежно, что он отделился и от Бетара, чтобы не мешать его легальной деятельности в Палестине и странах диаспоры. Бетаровское движение кульминировало в израильской военной организации.

Новая организация требовала для себя безусловного первенства и подчинения в плане борьбы. Молодежное движение должно было подчиниться военному.

Жаботинский был одновременно шефом Бетара и главой Иргуна, но эта персональная уния, обеспечивавшая единство движения, не могла помешать тому, что Иргун имел своих командиров, а Жаботинский в Лондоне был только высшим авторитетом, а не прямым руководителем Иргуна. Старшие и ответственные бетаровцы, для которых Иргун был осуществлением заветного сна и тем, что давало смысл всей их предыдущей деятельности, вдруг почувствовали себя перед проблемой „двойной лояльности“.

Только что они принесли бетаровский „нейдер“ и были связаны со своими начальниками, нацивами и „Рош-Бетаром“ чем-то большим, чем простая дисциплина. Вдруг — за пределами бетаровского „нейдера“ выросло новое требование к ним: новая организационная принадлежность, новая суровая дисциплина. Не вступить в Иргун было нельзя: это было дело совести. Но вступая, люди отрывались от организации, которая их воспитала и продолжала в них нуждаться. Они по-прежнему состояли в Бетаре, но создавалось положение, при котором Бетар переставал быть самым важным в их жизни.

Теперь мы знаем, что это раздвоение предвещало глубокий кризис ревизионистского движения. Владимир Жаботинский видел опасность, когда летом 1939 года, т. е. в момент, когда Иргун уже вполне определился, как нечто самостоятельное и другое по сравнению с Бетаром и всеми другими ревизионистскими организациями, — изъявил желание прибыть в Палестину. Он мог это сделать только нелегально ибо другой возможности у него не было, — и в Эрец он хотел стать во главе Иргуна, как его непосредственный военный командир. — Этого ему не позволили. Слишком велик был риск. Слишком трудно было бы его спрятать во враждебном окружении от британской полиции. Он был нужен в Диаспоре, как лидер мирового сионист-

ского движения. И, однако, то, что заставило Жаботинского думать о переходе в Эрец, не было бравурой офицера, желающего быть в первом ряду атакующих: это было правильное понимание, что политик может держать под своим контролем военные силы только тогда, когда он непосредственно руководит ими, как Клемансо руководил Фошем в 1917 году и Черчилль британской армией в 1940 году. В противном случае военная организация рано или поздно берет на себя политические функции и перерастает в политическую, — как это случилось с легионами Пилсудского в Польше 1919 года. Бетар вплоть до начала второй мировой войны оставался тесно связанным с политическим движением, основанным Жаботинским и расширенным им до размеров „Новой Сионистской Организации“. Тогда как в Иргуне движение Жаботинского явно перерастало во что-то не до конца подвластное ему, с новыми импульсами и новым, независимым, направлением. Новый человек — Авраам Штерн — уже явился в Варшаве и действовал внутри Бетара, как явный противник Жаботинского. Между ним и Жаботинским стоял Менахем Бегин — будущий командир Иргуна и будущий „мефакед“ — командир Бетара. Жаботинский умер в 1940 году. Яир — Штерн, погиб немного времени позже. Менахем Бегин наследовал обоих — и довершил до конца политическую метаморфозу движения.

Но в те годы кризис только начинался. В конце 1937 года прибыли в Польшу, по соглашению Жаботинского с польским правительством, 36 отборных членов Иргуна из Палестины. Половина из них были сабры, не знавшие польского языка, но все они вышли из рядов Бетара. Для них польским правительством был организован тайный четырехмесячный военный курс в окрестностях Кракова. Польские инструкторы имели задание в 4 месяца сделать из них боевых командиров, способных руководить военными операциями в Палестине.

Никогда еще не приходилось польским офицерам иметь дело с такими евреями. — „Это не люди, а черти!“ — Они работали по 20 часов в сутки. Интересовали их только те роды оружия, которые могли найти применение в условиях страны. Они имели перед собой ясную и простую цель: создать достаточную военную силу, не считаясь ни с Еврейским Агентством, ни с общественным мнением в странах диаспоры, ни с волей большинства в еврейской Палестине, занятой своим маленькими приватными интересами. Эта сила должна была решить судьбу страны на поле битвы. Какое значение имели миллионы евреев в Польше, разделенных на десятки партий и клик, неспособных сговориться? Их газеты, митинги, политические лозунги — бред на яву. Жаль каждой минуты на споры с ними, на уговаривание. Их судьба решится над их головами... Достаточно тридцати тысяч обученных членов Иргуна, чтобы захватить оба берега Иордана. Альтернатива — концентрационные лагеря Гитлера и Сталина. Не надо тяжелого вооружения, достаточно легких автоматов, легких танков. „Мессия въедет в Иерусалим на танке“ — ему, конечно, не понадобится ни Шерман, ни Центурион для этой цели. Время политики и мудрствований прошло. Учиться, учиться! — но не по книгам Гемары и Мишны. Польские офицеры — вот их учителя.

И польские офицеры ошеломлены. Таких учеников они еще не имели. Чтобы научить польского рекрута из деревни разбирать и складывать винтовку, нужен месяц, — а эти понимают сразу, в течение одного часа! — „не может быть“ говорят они „не иначе, как вы уже раньше где-то прошли подготовку“. — Эти евреи впервые в жизни дорвались до оружия и чувствуют, что они держат в руках будущее своего народа. Сабры не понимают польского языка, и их товарищи, родившиеся в Польше, на месте переводят им объяснения польских инструкторов. И они понимают все, понимают мгновенно, их способность схватывать налету граничит

с чудесным, их прилежание и упорство не имеют равных, в глазах у них опьянение, как у хасидов, в день праздника Симхат-Тора.

Все ли они понимают?

Жаботинский всю жизнь мечтал о еврейских солдатах, но даже в мундире legionера, по собственному признанию, он оставался „глубоко-штатским существом“. Солдатская психология была ему чужда. Сионизм рождается как явление духа. В определенный момент, в определенных условиях, идея сионизма становится политической идеей. В определенный момент, в определенных условиях политика требует вооруженной руки. Таков закон истории: дух определяет политические цели, а политик держит в руках военную машину. Политика без духа, без идеи, слепа, ведет к поражению и катастрофе. Военный подвиг — борьба и победа — если не стоит за ним глубокая политическая мудрость — только азартная игра, где успех зависит от факторов независимых от воли и превышающих понимание игроков.

За первым военным курсом последовал второй, организованный для польских бетаровцев. Все они имеют психологию Александра Македонского: „гордые-вы узлы истории рассекаются мечом“. К идеологам и мудрецам, к интеллигентам и теоретикам они испытывают презрение профессиональных вояк. Они к ним относятся почти с таким же пренебрежением, как к „шнорерам - попрошайкам“ и „экономистам“ на верхах сионистской бюрократии. Независимость не покупают за золото, и, так же, нельзя освободить родину с помощью писания книг и рассуждений. Они за прямое действие. Они не читают книг, но зато прекрасно разбираются в типах ружей, револьверов и гранат. Этот „военный сионизм“ начинает себя противопоставлять не только „духовному сионизму“ Ахад-Гаама, но и „политическому сионизму“ старшего поколения.



**„...Вырвем силой страну отцов“
И. Эпштейн в кругу бетаревцев виленского
гнезда (лето 1938 г.)**

На мировой „кинус“ (съезд) Бетара в Варшаве, в октябре 1938 года Жаботинский привозит два плана: один — созвать конгресс всего польского еврейства пред лицом угрожающей гибели. Другой — подготовить сто тысяч человек для переброски с оружием в руках в Палестину. Первый план встречает вежливое равнодушие и пожимание плеч: опять речи, опять дискуссии, дебаты, выборы, собрания, как все это надоело. Зато второй план вызывает всеобщий энтузиазм. — „К оружию, граждане!“ — вот что нужно. Нужна армия, а не конгресс.

Сионизм переходит от обороны к нападению. Евреям нечего искать в Европе, где готовят им массовую смерть. Но там, в стране отцов, еще имеет смысл лозунг „добьемся мы освобождения своею собственной рукой“. Даром ничего не дадут, и пощады мы не вымолим себе у тех, кто малейшей своей выгодой, малейшей из занимаемых позиций не поступится добровольно в нашу пользу. Мы в глазах захватчиков, беспощадных к слабому, — „агрессоры“. В глазах слепой и жалкой массы, которая завтра как солома ляжет под ноги победителей с запада и востока, мы — „фашисты“. Пусть так. Нам не на кого рассчитывать. Если нет другого пути, вырвем силой страну отцов, Эрец-Исраэль. Не будем стыдиться слова „кибуш“ — „завоевание“.

На Праге, предместье Варшавы, в Академическом доме происходит мировой съезд Бетара. Там Жаботинский произносит речь в честь Шломо бен-Йосефа, бросившего вызов британским властям. Новая программа облачена в форму песни, которую вождь-поэт написал для Бетара, — но в ней стих

...Бог предназначил нас в жертву —
ибо таков истинный смысл слов „элоим леягон бахартану“ — заменяется по единодушному требованию стихом „элоим лешильтон бахартану“: Бог предназначил нас к власти“. Из этих двух вариантов первый, проро-

ческий, носит печать духа Жаботинского; второй, пропагандный, — возглас идущих в атаку. И самое главное: вносится поправка в текст присяги, которую Сролик и столько других приносили с молитвенной верой. Отныне вместо слов: „силу руки отдам на защиту родины — и только на защиту“ вводится текст „для защиты народа и завоевания родины“. Слово „кибуш“, как звезда, загорается над рядами восторженной молодежи.

...Люди Иргуна прибывшие из мандатной Палестины, приносят с собой другую атмосферу, говорят другим тоном. За Натаном Фридманом и Хермони, за Мерлиным и Гилель Куком, который позже примет имя Питера Бергсона, стоит тень Авраама Штерна. Эти люди требуют, прежде всего, чтобы алия-бет служила целям Иргуна. „Готовьте и посылайте нам солдат, остальное не так важно“.

Нелегко было интеллектуалистам, примкнувшим к Бетару, перестраиваться на военный лад. Идеология этого требовала, но все душевное существо противилось. Израиль Шайб, сторонник самого беспощадного террора, так и не научился стрелять, и позднее писал, что впервые одел мундир бетаровца „не без внутреннего сопротивления“. Мы находим в его воспоминаниях характерную страницу о том, как приходилось насиловать свою природу этим „мечтателям гетто“. Шайб пишет:

„Посланцы-инструкторы Иргуна, прибывшие из Эрец, считали своей задачей оттолкнуть идейную подготовку в самый заброшенный угол. В одном из лагерей виленского „кена“ (гнезда) велась двойная жизнь. Два десятка парней и девушек, проходивших военный курс, считали себя „аристократами“ и с пренебрежением относились к той другой группе, где я занимался „только“ Библией и поэзией Ури-Цви Гринберга. При всем моем политическом экстремизме, я с этим согла-

ситься не мог, и у меня осталось неприятное ощущение. Оно повторилось позже, когда пришлось мне и Менахему Бегину в варшавской комендатуре Бетара стать на вытяжку пред кем-то, кто представлял Иргун Цвай Леуми в Польше. — И не потому, что мы были анархистами или „антимилитаристами“. Пред Жаботинским я без приказа стал бы во фронт, иначе нельзя было стоять перед ним. Душа стояла во фронт, а за ней тянулось тело... Но я почувствовал скверный вкус во рту, когда велели нам стать во фронт не пред человеком, а пред званием. Возможно, что это был хороший и честный человек... но нам было приказано стать во фронт пред ним только из-за его воинского звания...”

Люди Иргуна требовали от бетаровской молодежи чего-то большего, чем воинская выправка. Скоро они приступили к селекции членов Бетара, отбирая самых способных и активных, вербуя их и создавая ячейки Иргуна внутри Бетара. Создавалось двоевластие, когда в некоторых гнездах были два коменданта — от Бетара и от Иргуна. Долголетний нацив Бетара Арон Проппес покинул Польшу, и на его место был назначен Менахем Бегин, сторонник Иргуна. Это назначение было компромиссом. Представители Иргуна обращались к Жаботинскому, предлагая назначить на этот пост человека из Палестины, Натана Фридмана или Гиллеля Кука. Бегин должен был объединить Иргун и Бетар, покончить с раздвоением, устранить угрызения совести, которые испытывали люди Бетара, вступая в ячейку Иргуна, и когда оказывалось, что их обязывает конспирация даже пред самым нацивом Бетара. Весной 1939 года Бегин приступил к реорганизации руководства Бетара. Это был важный шаг на пути гармонизации молодежного движения в Польше с Иргуном. Другой важный шаг весной того же года был сделан Давидом Разиелем, командиром Иргуна в Палестине, который в Париже договорился окончательно о сотрудничестве Бетара и Иргуна в Эрец, тогда как в Европе,

в странах Диаспоры, эти организации сохраняли свою отдельность: „ейн кешер веейн гешер“ — „никакой связи, никакого моста“. Бетар в Польше перешел в управление сторонников Иргуна, но формально оставался независимым. Оба — и Бегин, и Разиель — были глубоко преданы Жаботинскому.

Лето 39 года — последнее лето пред взрывом — ознаменовалось лихорадочной деятельностью этой молодежи. В Европе гроза висела в воздухе, все европейские центры были переполнены евреями-беженцами из Германии, Австрии и Чехословакии. В Палестине 17 мая была опубликована „Белая Книга“, означавшая официальный и окончательный разрыв с сионизмом британской администрации. Брожение охватило широкие круги польско-еврейской ассимилированной интеллигенции. Многие из тех, кто до тех пор считали себя неразрывно связанными с Польшей, стали примыкать к движению Жаботинского, которое казалось ближе, понятнее, прямолинейнее и более „сообразно обстоятельствам“.

Летом 39 года, находясь в последний раз в Польше, Жаботинский внимательно приглядывался к состоянию умов, к той новой молодежи, которая его восхищала, удивляла, но и беспокоила. Иргун был для него проблемой. С одной из дам варшавского общества из тех, кто представлял в Варшаве салонный иргунизм, очаровательной женщиной того рода, к которому рыцарственный автор „Самсона“ всегда испытывал особую симпатию, он решился на крайнюю откровенность.

— „Кто эти люди?“ спросил он ее. „Я мало их знаю. Их планы, их скрытые мысли не доходят до меня. Вы с ними в дружбе, в интимном контакте. Пред вами они открывают свое сердце. Расскажите мне о них. Придите мне в помощь. Хотите держать меня в курсе их планов и настроений?“

Молодая женщина, которая отличалась блестящим умом и в то время с головой и сердцем ушла в новый для нее и экзотический мир еврейского национального движения, была поражена этим предложением. Как далеко должно было зайти отчуждение между „новой молодежью“ и старым вождем, чтобы он должен был обратиться к ней — именно к ней — с такой просьбой.

Когда Жаботинский заметил ее смущение, он обратил все в шутку. Но в действительности не было повода шутить, и он имел все основания для тревоги.

„Новый тип“ молодежи в то лето нашел свое воплощение не в участниках офицерского курса, которые хотели быть солдатами сионизма, и больше ничем. И уж, конечно, не Сролик, который в это время прибыл из Вильны, и до поздней ночи засиживался над кучами писем и документов в бюро организации, не Сролик с его мягкой и нежной душой, чуждавшейся всякой брутальности, был человеком, о котором Жаботинский должен был собирать сведения окольным путем.

Новым и сильным человеком Иргуна был Яир, — Авраам Штерн — тот, кому в ближайшие годы предстояло расщепить ревизионистскую молодежь и оказать огромное влияние и на тех, кто сохранил верность Жаботинскому.

Авраам Штерн ненавидел ревизионизм. С сухой и иронической усмешкой он говорил людям Жаботинского: „ваш вождь“. Из глубины Урала, куда забросила его судьба ребенком, он принес воспоминание о большевистской революции и глубокое презрение к мягкотелому гуманизму и интеллигентской расхлябанности. Штерн не был простаком. Он хорошо знал, что дух господствует над политикой, а политика над воинским делом. Но дух Штерна не был духом Жаботинского. Лучшим политиком чем Жаботинский,

он считал палестинского Муфти, и как Муфти готов был искать союзников против Британии в любом лагере — у фашистов, даже у наци. — „Какое значение имеет, если наци убьют в Польше сто тысяч евреев? — если они помогут нам в борьбе против Британии“. — Мысль Штерна имела в себе остроту и прямолинейность ножа, но его воображение было ограничено, и он слабо представлял себе размеры гитлеровской опасности и последствия нацистской победы для мирового еврейства.

Среди таких людей летом 1939 года Сролик занял свое место в „Нецивут“ (главном штабе) Бетара, обновленном М. Бегиним. Среди старых и молодых, среди энтузиастов и холодных как лед, среди религиозных и разочарованных, среди простодушных выходцев еврейского местечка и столичных дам, щебечущих по-французски, на ярмарке идей, страстей, гешефтов и политического азарта, где роль бродячих музыкантов исполняли поэты и сновидцы рядом с юмористами в субботних приложениях газет, — в этой толчее и давке последних дней погибающего мира снова появляется его спокойная и серьезная фигура с удивленными и грустными глазами.

И странно!.. Сролик не вел переговоров с польскими властями, не посещал салонов варшавской ассимилированной интеллигенции, не выступал на митингах и не вел подпольной работы в пользу Иргуна. По мнению одних из наших информаторов он был „серой, ничем не примечательной фигурой“, ибо не писал стихов и не читал Гомера в подлиннике, как Штерн... по мнению других, он был „не совсем взрослый“, ибо не пил и не интересовался фордансерками в варшавских нахтлокалях. Все сходятся на том, что Сролик был „фигурой на втором плане“, — но все, даже самые разные и противоположные по душевному складу люди, единогласно подтверждают, что он был челове-

ком исключительной душевной красоты, „воплощением гадара и совести“, и другого такого не было в движении. В чем был секрет Сролика?

Проникнуть в тайну личного очарования этого человека значит что-то понять в самой сущности исторического и социального процесса. Секрет истории не в сильных характерах и выдающихся событиях. В драме истории великие люди и события выделяются как горные вершины, — кто подымается на вершину, тому открывается огромный вид на окрестность, — но люди не живут на вершинах гор, а вокруг них, в долинах и равнинах. Правда, что Сролик стоял на втором плане, но вместе с ним на втором плане стоял весь еврейский народ — миллионы простых людей. Правда, что Сролик не имел оригинальных, ошеломляющих помыслов, — но в движении, где он выдвинулся на руководящую роль, он знал все о всех, и все ему доверяли. Со всех сторон стекались к нему нити сочувствия и дружбы, и от него расходились во все стороны. Каждое большое общественное движение не строится ни на слепой необходимости, ни на абсолютной свободе человека, а на том, что связывает то и другое, — на силе деятельной любви, идущей от сердца и от инстинкта. Сролик обладал врожденной способностью личного подхода к самым разным и враждующим людям. Все хотели служить народу, — Сролик сам был Народ, вошедший в движение. То, что он знал, он знал твердо, вне всякого сомнения, силой врожденного политического инстинкта, как знают люди с хорошим музыкальным вкусом с первого впечатления разницу между хорошей и плохой музыкой. Где был Сролик не могло быть лицемерия, подвоха, обмана и предательства. Он был чистым человеком. Это еще не объясняет, почему любили его на все готовые и ко всему способные люди. Они его любили потому, что Сролик поддерживал в них чувство собственного достоинства, не гордился своей чистотой и не навязывал ее никому. Не

становился на пьедестал, — и однако, всегда был там, где было нужно его присутствие. Не был принципиальным посредником или человеком, который всегда стоит „посередине“, — но имел это чудесное свойство, где бы он ни был, вносить единство и уверенность в том, что делается именно то, что нужно.

„Другого такого не было в движении“. Над этой фразой, сказанной человеком, который был компетентен судить о движении более чем о Сролике, стоит призадуматься. Был ли Сролик исключением? И в каком смысле? Было ли его явление чем-то столь своеобразным, как арфа в большом и громком оркестре, где только ухо музыканта в состоянии уловить чистоту ее звука? Что значит: „другого такого не было в движении“? Плохо это или хорошо? Благословились ли движением Сроликом, потому что другого такого не было, или не было другого, потому что не нашлось бы места и применения для еще одного такого? Был ли Сролик действительным руководителем организации, хотя и „на втором плане“, как укрытый под землей корень, или только цветом на ее дереве, которому предстоит осыпаться рано, чтобы дать место плоду?

Летом 1939 года англичане отрядили в Варшаву шпиона, который должен был на месте следить за отправкой нелегальных транспортов. Двум с половиной тысячам людей угрожала опасность быть задержанными на румынской границе. Шпиона, проживавшего в отеле Бристоль в центре города, надо было подстеречь и устранить. Для этого требовались люди.

Такого рода „операция“ выходила из рамок деятельности Бетара. Должна была пролиться кровь. Но это был приказ Иргуна.

В один из вечеров сожитель Сролика — иргунист и бетаровец одновременно — не выдержал и сказал

ему, что готовится охота за человеком в центре Варшавы. Надо ли довести об этом до сведения Бегина, нацива Бетара?

В ясно-голубых глазах Сролика не было и тени колебания. „Если есть приказ, надо его выполнить. Если он тайный, надо сохранить его в тайне. Если есть агент-осведомитель, по вине которого тысячи людей могут быть перехвачены по дороге в Эрец, то какое же может быть сомнение? — Ты, конечно, получишь всю нужную помощь“.

Несколько лет раньше, когда в гнезде — „кене“ — виленского Бетара обнаружился посланный коммунистами провокатор, Сролик просто велел ему убираться. Но теперь на карте стояли тысячи человеческих жизней.

Сролик - воспитатель, Сролик - организатор, один из многих, плоть от плоти, кость от кости безымянной массы, со всем своим поколением переходил границу, отделявшую мир традиционной еврейской морали: „не у б и й“ — „что бы ни было, не убивай!“ — от того мира, где свобода покупается кровью.

Человек, подосланный британской разведкой, узнался о грозящей ему опасности и своевременно успел бежать из Польши. Но миллионы евреев в ней остались и нашли свою смерть.

Г л а в а д в е н а д ц а т а я

И С Х О Д И З П О Л Ь Ш И

4 сентября 1939 года в переполненный пассажирский поезд, шедший по направлению на Львов, попали две авио-бомбы. Поезд был облеплен пассажирами, люди сидели на буферах, лежали на крышах вагонов. После двух попаданий на полотне образовалась кровавая каша. Движение было задержано до поздней ночи. Несколько задних вагонов уцелело. Из одного из них вышел Сролик, целый и невредимый, и огляделся. Его немедленно взяли в работу: спасать, вытаскивать раненых, складывать трупы, готовить общую могилу. Над ямой, где сложили несколько десятков неразличимых останков, Сролик сказал заупокойную молитву „Эль Моле Рахамим“, поправил на плечах рюкзак и первым подоспевшим автобусом уехал во Львов.

Так начался его Исход из Польши, — тот Исход, к которому он готовился с юных лет, и который сам по себе был для него только вступлением к великому и радостному событию — возвращению на родину. Сролик с детства привык к мысли, что он оставит Польшу, что его поколению предназначено преодолеть. Изгнание, как долгую ночь, за которой встанет рассвет нового прекрасного дня на настоящей, необманной родине.

Сролик знал старые предания, сохранившиеся в Талмуде, о том, что только пятая или десятая часть народа, находившегося в египетском рабстве, последовала за Моисеем в Обетованную землю. Остальные

— огромное большинство — не решились, не поверили и были преданы полному забвению Историей. Не для них свершились казни и чудеса, не для них знамения и пророчества. Даже вспоминать их — было грехом. И все-таки, — когда пришел для него срок расставания со старым миром, в котором прошла его молодая жизнь, и он увидел себя на границе, разделяющей „одну десятую избранных“ от осужденных, — все существо его возмутилось и потряслось. Этот Исход был похож на бегство из горящего Содома. Нельзя было оглядываться, — но в гибнущем Содоме оставались самые близкие и дорогие, оставались миллионы простых евреев, предоставленные их участи.

Накануне в Варшаве, окутанной дымом, засыпанной бомбами, Сролик был свидетелем радости, которую вызвало известие о том, что Франция и Англия включились в войну против Гитлера. Не было границ ликования толпы, как будто это уже была победа. В действительности война была проиграна Польшей в первый же день, когда немцы прорвали фронт, как лист бумаги, и самолеты их завладели польским небом, не встречая сопротивления. Развал государства с населением в 36 миллионов наступил мгновенно, как будто вся история независимой Польши последних 20 лет была сном, а теперь наступило страшное пробуждение. Толпы беженцев хлынули на восток, к советской границе. Армия распалась на отдельные части, между которыми не было связи и центрального руководства. Это молниеносное поражение было так чудовищно-невероятно, что воображение отказывалось ему верить. Казалось, что катастрофическое положение на фронтах может каждый день измениться — так же быстро, как оно пришло. Но в ожидании чуда надо было действовать, надо было предпринять что-нибудь.

На четвертый день войны Сролик и несколько его товарищей оставили Варшаву. Их первая мысль была

— на югозапад, к румынской границе. Там, в Снятине, находилась партия бетаровцев, ожидавшая нелегальной отправки. Всего только месяцем раньше Сролик ездил туда с деньгами на дорогу для них. Деньги были в кожаном чемоданчике. Сролик не разлучался с ним, не выпускал его из рук, клал под голову, засыпая. Сролик боялся этих денег, как если бы чемодан был полон опасного радиоактивного вещества, и берег их, как если бы это было единственное лекарство, могущее спасти жизнь больным. Он хотел как можно скорее отделаться от этих двух тысяч англ. фунтов, они жгли ему руки.

Снятин остался в его памяти как мирная глушь, сонное местечко над широкой и спокойной рекой Прут, уютными домиками в зелени, церквями, высокой башней ратуши и рынком, полным украинских и молдавских баб. Золотая кукуруза сушилась на крышах крестьянских хат. Теперь тот же Снятин был далек и недостижим, как прошлое без возврата. Смерть сторожила на всех дорогах.

Металлический звон стоял в ушах, нельзя было укрыться от стальных ос, гудевших высоко над головой. Ковель, Замостье, пожары на горизонте... и наконец, поезд Сролика был настигнут немецким самолетом. При первом разрыве бомбы, прямо в паровоз, началось дикое бегство из задних вагонов. Люди выбрасывались из окон, а за ними неслись крики и стоны, хрип умирающих под пулеметным дождем...

Тогда увидел Сролик в кабине низко-летающего самолета на одну часть секунды первого и последнего наци, которого суждено было ему видеть до конца войны: молодое лицо без глаз, в огромных очках, с прямым носом и широко открытым ртом, как будто он хотел проглотить весь этот разбомбленный, залитый кровью поезд. Этот широко разинутый рот долго помнил Сролик. До поздней ночи помогал он закапы-

вать трупы, почерневшие горы мяса, оторванные ноги и руки, носил носилки... не чувствуя ни усталости, ни страха. Уже все окружающее было чуждо ему, и душа вырывалась вперед, к тому единственному месту на земном шаре, где его присутствие имело смысл.

Во Львове он нашел то же, что и в Варшаве: непрерывные воздушные налеты, пожары, мечущиеся толпы беженцев, превратившие улицу Легионов в цыганский табор. Во „Французском“ отеле, где поселился Сролик с товарищами, они занимались дележом фондов „Алии Бет“: возвращали записавшимся на выезд их деньги. Весь день приходили люди в отчаянии, в панике, и никто не пытался их успокоить.

Потоп наступил раньше, чем успели приготовить ковчег.

В отеле третьего разряда, с разбитыми окнами от близких взрывов, было холодно, ветер дул в разбитые окна, прислуга разбежалась, никто не убирал и не отвечал на звонки. Как орех, треснуло польское государство в железных щипцах гитлеровской и Красной армий. Еще продолжалось бесцельное сопротивление в разных местах страны, и Варшава держалась. Но Львов был занят Красной армией на второй день советского наступления.

В эти дни обуял наших выходцев из старого мира приступ сумасшедшей, истерической веселости. Вопреки всему, — они уцелели и не думали сдаваться. Они чувствовали себя пловцами на плоту после кораблекрушения, среди бушующих волн и обломков того, что вчера еще носило гордое имя. Сролик с товарищами дурачились по-детски. Один оделся Наполеоном, белые штаны в обтяжку, бумажная треуголка на голову, и ходил по номеру, заложив руки за спину, при всеобщем хохоте, а Сролик изображал Фуше, напав на себя мочалки и тряпки. На улице, однако, вместо

Наполеона и Фуше распоряжались Сталин и Берия, о которых товарищи Сролика имели довольно отдаленное представление.

Начиналась великая охота за людьми. На гитлеровской стороне услужливые поляки показывали пальцами немцам: „вот это евреи“. На советской стороне показывали пальцами услужливые евреи: „вот это контр-революционеры, сионисты-фашисты“. И так случилось, что в первые же дни кто-то из еврейских коммунистов позвал милицию, опознав Сролика на улице. Он едва вырвался: допрашивал его, на счастье, не еврей, и в первое время НКВД еще не функционировало нормально. Но это было первое предостережение. Надо было уходить из Львова. Куда? Румынская граница была заперта тройным кордоном. Но оставалась еще северная — литовская граница.

Во второй половине сентября, в самый канун Судного дня, Сролик добрался до Вильны. В Варшаве он видел поражение, во Львове — первое появление Красной армии в чужом городе, но вид советской Вильны потряс его. Здесь он пережил настоящий шок.

Литовский Иерусалим, твердыня его молодости, его родной город, — лежал в нагом позоре, в добровольном унижении перед врагом. Немцы не заставляли никого называть себя „освободителями“, а здесь еврейские руки подожгли в центре города бюро ревизионистской партии, срывали со зданий, где помещались еврейские общественные учреждения, звезду Давида и вешали вместо нее пятиконечную звезду. Непостижимо было, с какой легкостью торжествовали победу враги сионизма. Многие из вчерашних бетаровцев пошли служить в советскую милицию. А те, кто смотрел на него с открытым злорадством, сулившим недоброе, держали себя так, точно прощали ему великодушно, — вчерашние глупости, а теперь ждали от него, что он образумится, — и все прошлое будет забыто и прощено ему как ша-

дость ребенка. Они были готовы „простить“, не зная, что прощать было не в их власти, и сами они были под угрозой. Пришла военная интервенция, которая должна была дать свободу „всем-всем-всем“: полякам, литовцам, евреям и белоруссам. Но Сролик боялся ночевать дома. Боялся доноса и ареста. Уже были арестованы видные сионистские деятели, молва передавала их имена. Ледяная рука протянулась издалека, искала, нащупывала жертвы. Евреи Вильны были счастливее тех, кто попал в руки немцев: они могли считать себя „освобожденными“, но под условием, о котором сказал пророк Иезекиель: **„за то, что ты рукоплескал и топал ногой и радовался на свое отвращение к земле Израилевой“.**

Не прошло и двух месяцев, как Вильна с окрестностями была подарена великодушным Советским правительством Литовской республике. От такого подарка нельзя было отказаться и трудно было ему радоваться. Было ясно, что следующим шагом будет советский захват всей Литовской республики вместе в Вильной.

— В а л л о ! — кричали немногие виленские жители, знавшие литовский язык, стоя на тротуарах и встречая первую колонну литовских войск, вступавшую на улицу Мицкевича. — Валло!

Но литовцы подозрительно вглядывались в еврейские лица. Их не убеждал литовский патриотизм виленских евреев.

Отныне, вклиненная между Германией Гитлера и Советским Союзом, Литва становилась островом свободы, убежищем беглецов и вожаемой целью всех, кто мечтал пробиться на Запад. Отсюда летели самолеты в Копенгаген, в Лондон и Америку. Здесь действовал Джойнт, сюда приходили сертификаты из Иерусалима. И здесь понемногу концентрировались руководители бетаровского движения в Польше: Менахем

Бегин, Натан Фридман и Шайб. Образовался Комитет Спасения, во главе которого стояли ковенские бетаровцы И. Глазман и Дилион. Когда летом 1940 года был положен конец призрачной независимости прибалтийских государств, стало ясно, что в распоряжении сионистской молодежи, чтобы вырваться из кольца, остаются считанные месяцы. Надо было решаться на крайность, идти на риск.

Время не ждало. В Европе от Нарвика до Крита властвовал Гитлер, в захваченных им странах уже начиналась беспримерная казнь еврейского народа. В советской зоне полмиллиона еврейских беженцев было вывезено в каторжные лагеря, и происходил систематический погром всего, что создали столетия еврейской жизни в странах восточной Европы. А в Вильне в то же время велось какое-то подобие „мирной“ жизни. Письма приходили и уходили за границу. Люди служили в советских учреждениях, слушали радио, играли в карты и шахматы. Вечером в „Лютне“ можно было слушать Ханку Ордонувну. В театрах ставили Мольера и Сарду, играли „Прекрасную Елену“ и „Принцессу Чардаша“. Под звуки Оффенбаха разгромили Еврейский Научный Институт и вывезли его сотрудников вглубь России. Бывший „нацив“ бывшего Бетара Менахем Бегин выехал с женой в окрестности Вильны — подальше с глаз — и поселился в сосновом лесу в деревянном домике. Там в ожидании возможности выехать он занимался чтением и усердно изучал английский язык. Жаботинский умер.

Все карты были спутаны, все горизонты заволокло мглой. Но вера и воля были живы; сердце и разум не нарушены; и вдалеке как маяк светилась страна, где „жизнь начиналась сначала“.

Еще раз попробовал Сролик пробиться в Румынию по старой, знакомой дороге.

В последние месяцы он стал очень молчалив, более обыкновенного. Черты лица его замерзли, лед был в сердце. Отец предложил ему на дорогу свои золотые часы с цепкой. Он еще помнил чемодан полный фунтов стерлингов, с которым в последний раз ездил в Снятин. — Что пользы? — „Деньги никого не спасали“ сказал Сролик „золото меня погубит“. — „Футляр я возьму на память“. Вместо золотых часов Сролик взял из дому простые старинные ключиком заводные часы отца. Эти часы он, в конце-концов, довез до Палестины. По сей день они еще тикают на земле родины, где перестало биться его сердце.

Эта вторая попытка тоже кончилась неудачей. В те дни массы людей, единственной целью которых было уйти подальше от кошмара, ломились сквозь замкнутые кордоны, а другие, создавшие этот кошмар, не давали им уйти. В горевшем доме были замурованы выходы.

Сролик вернулся в Вильну. Город пустел. Непрерывно вывозили из него и из всей Литвы людей неугодных режиму. Десятки тысяч исчезали, как если бы их никогда не было в живых, а оставшиеся ждали своей очереди. Все, имевшие иностранное гражданство, состоявшие под покровительством иностранной державы, в конце-концов покинули Вильну. Оставшиеся, как мусор под лопатой, ждали, в какую кучу их бросят. Менахем Бегин был найден в своем лесном убежище, арестован и вывезен. Его ближайшие товарищи ждали ареста каждый день. Семь или восемь „сертификатов“, дававших право на въезд в Палестину, были получены для них и розданы немедленно. Сролик не взял визы. Не взял ее и Иосиф Глазман, которому предложили ехать вместо арестованного М. Бегина. Сролик решил ехать последним. Глазман решил оставаться и разделить общую еврейскую судьбу. Впоследствии он погиб во главе партизанского отряда, сражавшегося против немцев в 1942 году.

Когда иссякла надежда на добавочные визы из-за границы, приступили к фабрикации фальшивых виз на месте. В руки бетаровцев попали бланки британского консульства, которое тем временем оставило Каунас. На этих бланках выставляли фальшивые удостоверения, что въездная виза ожидает данное лицо в британском посольстве в Стамбуле. На основании такого документа советские власти давали выездную визу в Турцию. Бетар имел своих людей в советских учреждениях, имел их и в НКВД. На фальшивых документах мастера-техники изготавливали неотличимые от подлинных печати и штемпеля. Время не ждало, приближался двенадцатый час.

Пока на базарах Вильны голодные горожане меняли отрез мануфактуры на мешок картошки, и пару сапог на кусок сала, другие — голодные свободы — отдавали последнее за товар другого сорта: появились визы в Кюрассао, визы в Японию, в Голландскую Индию... Кто слышал, где находится Кюрассао? — все равно куда, лишь бы выехать. Бланки, печати, штемпеля, — все было фальшиво, и только воля — **„свободным быть в стране своей — Иерусалима и Сиона“** — настоящая, дороже золота и крепче стали.

Приятель — бывший бетаровец, пошедший служить в НКВД — устроил Сролику документ на выезд. — „Не спрашивай как, готовь доллары“. Долларов не было у Сролика. Еврейское Агентство, „Сохнут“, представители которого еще оставались в Каунасе, заплатило за паспорт в долларах. В апреле 1941 года — это было перед Пасхой — начали готовить Сролика в дорогу. Вся семья — отец, мать, брат, сестра, — снаряжали его в путь. Купили большой чемодан. Что берут с собой в час Исхода? Память бессонных ночей, горечь и сладость тайных переживаний, о которых никому не скажешь, для которых нет слов на языке? Или груз ежедневных забот, которые тянутся за тобой, куда бы

ты ни пошел? для этого нет места в чемодане. Или любовь и ненависть, весь опыт накопленный молодой и уже прошедшей через жестокие испытания душой? — Этого всего не найдут у Сролика, даже если разденут его до-нага во время ревизии багажа на границе.

За двадцать пять лет жизни он не собрал имущества, нет у него достаточно вещей, чтоб наполнить такой большой чемодан. Он пакует в него до-верху — книги. Те книги, которые теперь стали в советской Вильне нелегальными. Сролик был уверен, что в Москве, где надо будет получать турецкую визу, его задержат и повернут в Сибирь. В Сибири нужны книги.

Свой чемодан, чтоб не обращать на себя внимания, он отправил в Каунас вперед, а сам без багажа, с билетом, который купили для него в кассе другие, пришел на вокзал.

Никто не провожал его.

Г л а в а т р и н а д ц а т а я

В Д О Р О Г Е

Страх и надежда смешались в душе Сролика в одно состояние острой напряженности, и нельзя было сказать, было ли это счастье или боль, как льдом скользящая поверхность души.

Самолет летел навстречу будущему — весь порыв и стремление — но это был чужой самолет, полный советских служащих и военных. Все было необычно и ново для Сролика. Двое товарищей летело с ним вместе. Они были буквально последние: после них никому из бетаровцев не удалось покинуть этим путем Ковну. Ощущение опасности и нелегальности проникало все их существо. Они молчали или переговаривались шопотом. Кругом были враги.

Было начало марта. В круглом окошке самолета плыли облака, в их прорывах глубоко внизу простирались необозримые равнины Белоруссии, покрытые снегом как скатертью. Узорами темных лесов была вышита скатерть, мощно и ровно гудели моторы, самолет то опадал, то набирал высоту, — и возврата не было.

Вдруг он услышал немецкую речь. Как смело и громко разговаривали немцы в советском самолете! Были ли это гитлеровцы? Нет, нацистские делегаты не нуждались в самолетах из Ковны, чтобы попасть в Москву. Они имели к своим услугам весь воздушный флот Третьего Райха, и прямую линию Берлин-Москва.

Может быть, это были немецкие коммунисты, агенты Коминтерна? Им не надо было укрываться, как Сролику и его товарищам, держать язык за зубами или говорить по-русски, чтобы не привлекать на себя внимания.

Нелегальные! На территории Советского Союза все их мысли, чувства и планы были нелегальны, их язык был нелегален, их место было в тюрьме или лагере. Они были заговорщиками против воли и беженцами по необходимости. И невольно они чувствовали себя как бы виноватыми в том, что уклонились от общего правила. Тяжело быть исключением из правила, но вдвойне еще тяжелее таиться с грузом своей нелегальности. Они были виноваты в том, что не покорились авторитету власти самой нетерпимой в мире, которая не признавала за ними права на имя „революционеров“, как немцы не признавали за ними права на звание человека.

А кто же был „революционер“ в этом самолете? — вот этот человек с худым и злым лицом, с огромным кожаным портфелем. В портфеле был, может быть, список „социально-опасных элементов“ на Литве, и он вез его прямо в руки Лаврентию Павловичу Берия на предмет постановления. Вдобавок, это был еще свой брат, виленский. Его Сролик должен был опасаться в эту минуту больше всех. Он старался не смотреть в его сторону.

Ковно — Минск — Москва. Огромный город был невидим в морозной дымке, валил густой снег, и первые огни зажигались в сумерках, когда Сролик вышел из самолета на Внуковом аэродроме. Представитель „Интуриста“ с автомашиной уже поджидал своих клиентов. — „Пожалуйста, пожалуйста!“ — Скоро Сролик почувствовал, какой важной фигурой он является в Москве в качестве иностранного туриста. Он был избавлен от всех материальных забот. За 12 долларов в день окружили его опекой и роскошью, о которых не меч-

тал бедный виленский бетари. Как „калифа на час“ из „Тысячи и одной ночи“ перенесли его во дворец. Его почти забавляла фантастика этого перехода из положения травимой дичи в положение интернационального гостя Советской Республики. Все было к его услугам.

Но это была сказка не арабская, а советская, и в распоряжении Сролика вместо тысячи ночей было всего трое суток.

Новомосковская гостиница, где жили наши путешественники, была первокласным отелем для иностранцев. На верхнем этаже ее помещалось кабаре, где по вечерам гремела цыганская музыка, и смуглые красавицы с горящими черными глазами и голыми плечами посылали с эстрады улыбки Сролику под стоны скрипок. За кого они принимали его? — Место купеческих и дворянских кутил старой России заняли офицеры Красной армии и дипломаты. В Новомосковскую не пускали офицеров рангом ниже майора. Дорогие вина, икра, корзинки с виноградом и крымскими яблоками украшали столы. А на улицах и площадях снегом занесенной столицы между трамваев и троллейбусов теснилась серая толпа: мужчины в валенках, женщины в платках, и беднота еще больше выделялась на фоне монументальных построек режима.

С утра подавали нашим путешественникам автобус, и Шехерезада из „Интуриста“ объясняла им московские чудеса. Вот зубчатые стены Кремля и Сухарева Башня с часами, столетия не коснулись их, и соборы стоят, как вывели их строители 16 века... но что Сролику до Ивана Великого, до Успенского и Архангельского соборов, до Василия Блаженного? — Он за один камень Стены Плача отдаст все соборы. И вот дома, которые по приказу советской власти перенесли целиком и с фундаментами из одного конца города в другой, как детские кубики. Слышал ли Сролик, чтобы

целые дома переносили с места на место? — Этого не было в Вильне, но Сролик знает, что в Советском Союзе не только дома, а целые племена и население сел и городов умеют перебрасывать с Запада на дальний Восток и с юга на дальний Север. Велика важность — дом. А вот музеи, сельскохозяйственная выставка, а вот метро, самое роскошное в мире. Сролик, где ты видел столько мрамора, и цветной мозаики, и дорогих камней с Урала, и залы, сверкающие царским великолепием? Это все народное достояние, Сролик! Все строили рабочие руки по приказу Сталина, как видно, для собственного удовольствия, — и не только никто ничего на этом не заработал, но миллионы ютились и по сей день ютятся в жалких норах, — чтобы было в Москве это поражающее иностранцев метро.

Но Сролик смотрит равнодушно. Подземка — это ведь не столько станции посадки, сколько во мрак погруженные туннели, протяжением в десятки километров, по которым бегут поезда, набитые простым народом. Этих подземных корридоров не показывают — их проезжают не глядя. Станция с мрамором и позолотой — праздники жизни, а темные туннели — ее будни, неприкрашенная правда жизни миллионов. И этот замечательный отель, где проживает Сролик с товарищами, — тоже ничто иное, как станция отправки, откуда надо уезжать как можно скорее.

В один из вечеров зовут Сролика в театр, на балет, знаменитый русский балет. Посещение театра включено в программу осмотра столицы. Но как раз в этот вечер Сролик занят. Кто-то в Вильне просил его передать привет родным в Москве. Сролик позвонил по телефону:

— „можно с вами говорить по-еврейски? Как лучше — прийти мне к вам, или вы предпочитаете зайти в гостиницу?... Да-да, так лучше будет. Приходите вечером“.

В назначенный час является элегантная дама, в шубке и меховой шапочке. Можно появиться с такой в ресторане, не обращая на себя внимания. Но Сролик ведет ее в свой номер, и там начинается разговор, тихим шопотом, на случай, если в номере спрятан диктофон.

— „Мой отец нездоров, он не мог прийти...“

Сролик отдает виленский подарок от семьи, которая уже двадцать лет не видела своего московского родного: „талес“ — молитвенный шарф. Дама смотрит удивленно на маленькую пачушку... и вдруг на ее глазах слезы, губы дрожат. И долго без слов она всматривается в лицо Сролика и, наконец, спрашивает: — „Что это за значок вы носите в петлице?“

Значок Бетара. Сролик не снял его в Москве.

— „Это Менора — герб будущего еврейского государства“.

— „Вы верите, что будет еврейское государство?“

— „Мы боремся за еврейское государство“.

Неожиданно легко удастся получить турецкую визу. Французский консул в Бейруте, когда запросили его телеграфно, будет ли дана виза на проезд в Палестину, ответил коротко; „Виза будет дана“. На основании этой телеграммы из Бейрута турецкий консул дает транзитную визу в Турцию. Это победа! Сролик и его товарищи сияют. В последний день в Москве они еще успевают посетить синагогу. Но из попыток поговорить с немногими молящимися ничего не получается. Старые евреи смотрят подозрительно на молодых и молчат. Сролик с голубыми глазами и светлыми волосами вообще смахивает на „гоя“. Кто их знает, этих молодчиков, где они были до сих пор, и где будут завтра... В лучшем случае — уедут — забудут...

На завтра они далеко. В полночь проезжают Киев. Огромный вокзал пуст, и только на перроне старая еврейка в мужских сапогах и платке продает бублики. Узнав, что молодые люди едут в „Эрец“, она говорит им: „Фортгезунтерхейт“ — „езжайте на здоровье“.

Утром в поезде на Одессу купэ полно еврейских студентов-комсомольцев. Завязывается спор о Биробиджане и сионизме. Эта молодежь ничего не знает о том, что делается в мире, не знает ничего о своем народе, и одно ясно: в Биробиджан она так же мало собирается, как и за-границу. Кто-то из них слышал имена Ицика Фефера, Переца Маркиша.

— „Кто самый большой революционный поэт в Советском Союзе, знаете?“

— „Маяковский“ — отвечает Сролик. — „Нет, Перец Маркиш! Вы читали Перец Маркиша?“ — „Нет“ отвечает Сролик „не приходилось. А вы читали?“ — „Тоже нет“. Все смеются.

В Одессе, городе воспетом Жаботинским, Сролик провел один день. Город Ахад-Гаама и Бялика, город „пятерых“. Напрасно искал в нем Сролик „любимой греческой кофейни на углу Красного переулка“, теней Маруси и Сережи, всей той жизни, которая прошла и не вернется. Одесса была мертвым городом. Серая тоска, оцепенение лежали на ее улицах. В Лондонской Гостинице собрались пассажиры, которым завтра предстояла посадка на пароход. Кто-то предложил пройтись, бросить последний взгляд на славянский материк, попрощаться... Вышли, бродили по бульвару. Дошли до великолепной широкой лестницы, спускавшейся в порт. Море открылось перед ними.

Буря готовилась. Вымело берег, ветер гнул беспощадно деревья, вскипало над чугунным парпетом набережной. Небо над ним обратилось в один облачный

огромный необъятный свод, изжелта-молочный в зените и угольно-темный в горизонте, где оно смешивалось с равниной моря. Оттуда, из дали вод, шел кавалерийский наезд по всему фронту, с развернутыми знаменами и громовым рыком пенных чудовищ, встававших на дыбы и рвавших удила, пока ветер не заворачивал им морды на спины и с размаху бросал их, распластанных, копытами вверх, под ноги новой атаки. В окнах кафэ, где сели путешественники, распоясалась буря. Гудело в ушах и било в виски. — „До завтра уляжется!“ улыбался в желтом канареечном жилете и бархатной куртке скрипач. „Сыграем для товарищей, которые завтра едут на еврейскую родину. Был и я когда-то в Хайфе... давно это было, в 20-м году... Помню Хайфу: это такое маленькое местечко арабское... и пальмы на берегу... пальмы.. “

И полилась протяжная мелодия молдаванских степей и валашской низины. Замирающая, дрожащая долго на одной заунывной ноте, и потом спадающая задумчиво и с шелестом, как трен шумящего платья по ступеням. И сразу потом — задорный срыв, с буйным танцевальным ритмом, с блеском глаз и влажной улыбкой, со взметом и взвизгом скрипок, и соло аккордеона, в котором сразу и блеск заходящего солнца и пастушеская дуда на далеком лугу.

Музыкант с лысиной точно приклеенной к темени подошел к Сролику и вдруг заговорил по-еврейски. — „Стар я уже, здесь сложу свои кости... хоть бы дети дожили до лучших времен...“ — „У вас есть дети?“ спросил Сролик вежливо. Но музыкант не отвечал и глубоко задумался — „Музыка все переживет!“ сказал он в себя и улыбнулся Сролику, точно был у них общий секрет.

— Все переживет музыка.

И вот наши путешественники на „Сванетии“, советском белом пароходе, отплывают в Черное море.

Пароход блистает чистотой, стеклянные двери ведут в столовую, паркетный пол натерт до лоска, и Сталин с Лениным смотрят с отеческой улыбкой на 150 евреев, едущих в страну предков. От этой улыбки становится им нехорошо. В одесском порту накануне оторвали Сролику подошвы при ревизии. Неужели в самом деле все переживет музыка? Пароход качает несильно, чайки летят навстречу в свежем мартовском ветре... Ночь дышет звездами, и крепко спится на койке в кабине, как в колыбели родной матери.

А на другой день — горы, залив и город. Это Варна, болгарский порт, и он занят немцами. Волнение охватывает пассажиров. Что их ждет? Идут к капитану за объяснениями. Он успокаивает их. — „Приказано доставить вас в Стамбул, значит, привезу в Стамбул“. Бравый капитан! Хорошо, что не приказано их выдать немцам. Под охраной сталинско-гитлеровского пакта „Сванетия“ благополучно входит и выходит из Варны. На деке — толпа новых пассажиров — смуглых турок в шароварах и фесках.

Волны голубеют, небо яснее, воздух теплее... и вот является на пути „Сванетии“ пароходик жалкого вида, суденышко под панамским флагом. Не даром занимался Сролик и его товарищи нелегальной алией: им сразу понятно, что значит панамский флаг на Черном море. Метров двести отделяют оба парохода, видно, как высыпали панамские пассажиры к бортам лезть на обгоняющую их без труда „Сванетию“.

— „А не спеть ли нам „Гатикву“?“ — предлагает Тункель-Банай. Это идея. Хором поют старую песню:

Еще жива надежда наша - - -

Проходит одна минута, — и с панамского парохода доносится ответное:

Жива надежда древних лет...

Машут платками, руками. Через полчаса нелегальный кораблик теряется в морской дали. Пройдет два месяца — и пассажиры обоих пароходов встретятся в Атлите, в лагере для беженцев из Европы.

На третий день в полдень „Сванетия“ подходит к Стамбулу. Издалека растет из моря фантастическая панорама огромных как горы мечетей, окруженных копьями минаретов. Белые дворцы дремлют над сказочно-прекрасным Босфором, сады Сералия отражаются в ярко-голубом просторе. Близится решающее испытание.

Позволят ли турки высадиться?

Как зачарованные смотрят странники на невиданное зрелище. Снег и мороз в Москве, буря и дождь в Одессе, а здесь — яркая южная весна. Город раскинулся с двух сторон пролива, далеко на азиатском берегу — Скутари. Другой мир, другие люди, другие небеса.

На набережной Галаты толпятся встречающие, машут флагами, кричат приветствия. Подымается по трапу вслед за полицией маленький, седой, круглолицый Симон Брод. Это добрый гений, он все уладит, все устроит. У большинства приехавших документы не в порядке, нет сертификатов, но что же с ними делать?.. не везти же их обратно. Капитану не приказано везти их обратно. Полицию поят водкой, кому нужно делят хабар. После целого дня переговоров к вечеру всех спускают на берег. Часть прибывших направляется поездом в Мерсину, другую часть — и Сролика в том числе — размещают в Палас-Отеле, тут же, в двух шагах от Золотого Рога.

Г л а в а ч е т ы р н а д ц а т а я

М Е Р С И Н А

Прошло несколько дней, и Сролик с товарищами уехал в Мерсину — на юг.

О существовании местности, которая называется Мерсина, Сролик узнал только в Константинополе. Оказалось, что это довольно далеко. Двое суток шел поезд, пересекая материк Малой Азии, горы Анатолии. — „Торос Даглари“ — повторяли, дружелюбно смеясь, турки-пассажиры и показывали на скалистые хребты и зеленые долины. Поезд тащился медленно, долго стоял на маленьких станциях, отененных платанами, где продавали кислое молоко и лепешки, курицу с рисом и пилав. Становилось жарко. Европа уходила все дальше. Ни газет, ни радио, ни почты. Точно вся война приснилась.

В жизни Сролика никогда не было Субботы — той настоящей субботы, которая подымает человека над уровнем серых будней и возвращает ему чувство полной свободы и божественной легкости жизни. Может показаться странным, — но вряд ли была такая суббота во всей долгой истории еврейского народа. Народ, с верой принявший заповедь „Помни день субботний и святи его“, — сам не удостоился великой милости праздновать субботу во всей ее полноте, когда сходит ярмо с усталых плеч, нет страха и забот, нет мысли о завтрашнем дне, нет даже горечи о прошлом. Суббота была у евреев всегда только прекрасным видением, тоской по свободе и счастью, — невестой,

которая входила в дом и уходила прежде, чем глаза могли насытиться ее видом. Так было в жизни целых общин, и так же в жизни отдельного человека.

Жизнь Сролика представляется нам как прямая линия без взлетов и острых углов, где каждый отдых, отпуск и отход в сторону был вызван либо необходимостью, либо случайными обстоятельствами. В жизни революционеров нет даже того, что на языке повседневности называется „праздником“ — отдых от ежедневного труда. Для Сролика отдых всегда был антрактом, как бывает в театре между отдельными актами, когда артисты готовятся продолжать игру и ждут, пока переменят декорации. Или его отдых был похож на остановку поезда в пути не по расписанию. Что-то не в порядке с паровозом, и пассажиры, в ожидании возможности продолжать, выходят из вагонов и проводят время как могут. Одних сердит вынужденная остановка, они нервно смотрят на часы, — другие довольны и любопытно осматриваются по сторонам, но и те и другие ждут, когда кончится антракт, и жизнь пойдет своим ходом.

Месяц в Мерсине, маленьком турецком городке на берегу Средиземного моря, был в жизни Сролика таким антрактом, неожиданным интермеццо, исключением из всех правил жизни. Это была его первая встреча с Левантом. Ей предшествовали взбудораженная неделя в Стамбуле, полная хлопот и волнений. „Палас-Отель“, несмотря на свое пышное название, оказался довольно грязной гостиницей, полной клопов. Уличная жизнь международного, полутурецкого города ошеломила. Душа отступала перед новым и искала убежища в знакомом и близком. Сролик посетил сефардскую и ашкеназскую синагоги, встретился с товарищами, константинопольскими членами „Бетара“. Здесь организация называлась другим, нейтральным именем, — но Сролик при виде этой молодежи почувствовал твердый грунт под ногами. Он прочел им доклад,

рассказал о положении в Польше. Первым делом его было написать письма в Лондон и Америку с отчетом и призывом о помощи тем, кто оставался в Польше, в западне без выхода.

Постепенно отступило напряжение первых дней, и душу Сролика охватило необычное, непривычное чувство.

Где-то в мире бушевала война, сталкивались враждебные стихии, опасность висела над головой самых близких и дорогих. А он был в стороне, за порогом бури, в царстве полной безопасности и покоя. Как на другой планете. И жизнь сразу остановилась, точно повисла в пустоте, сама себе удивляясь, и стала неожиданно-легкой, похожей на сон.

Мерсина оказалась небольшим городком, вроде украинского Конотопа или белорусского Янова. Если бы не море, ослепительное в полдень и волшебное на закате, можно было бы принять ее пыльные и кривые переулки за польскую глухую провинцию. Над морем тянулся бульвар с кипарисами и чахлыми цветниками, с маленькими бедными кофейнями. В сонном порту дремали рыбацьи барки, фелюки с цветными парусами, стоял грузовой пароход, в полпути между Смирной и Алеппо или Бейрутом. В сорока милях от Мерсины в открытом море лежал Кипр, и в хорошую погоду можно было через бинокль различить очертания его береговой линии. А за Кипром далее была Эрец-Исраэль — Страна Израиля.

В единственной гостинице города жил Сролик, другие спутники: Израиль Моревский с женой, начинающий поэт Шломо Зингер. Всего собралось в городе человек 60-70 на пути в Израиль, и большая часть их разместилась в частных квартирах.

Запах свежей рыбы шел из узких переулков и маленьких духанов. Ослики кричали на базаре, и на каждом углу продавали халву.

В Америке мотор, а в Польше лошадь...
декламировал Шломо — поэт-бетаровец и сосед Сролика по комнате, —

Осел турецкий, и верблюд арабский,
Слон в Индии, — но Эрец-Исраэль
Жива господним духом! Люди, звери,
Машины, звезды, песни, — все у ног
Мессии ждут назначенного часа...

Худое лицо Шломо с прямыми волосами, падавшими на лоб, и маленькими глазками, было полно любопытства и оживления. Он купил себе толстую тетрадь на базаре и, в промежутках между прогулками по городу и попытками завязать знакомства с турчанками, прилежно писал стихи.

Никогда, ни до того, ни после, не было в жизни Сролика такой незаполненной пустоты, столько свободного времени. Нечего было делать, оставалось только ждать, неделю за неделей, в этой глуши, в городке окруженном вишневыми садами, где никто не понимал твоего языка, и ты не понимал других. Наши путешественники объяснялись с турками с помощью жестов и несколько французских слов. Шломо успел, в конце концов, подружиться с молодой турчанкой, студенткой из Стамбула, которая настолько ничего не знала о сионизме, что была удивлена, когда Шломо объявил ей, что он с друзьями намерен освободить страну Израиль от англичан. Она не знала, что англичане находятся в Палестине.

Сролик проводил дни, купаясь в море, часами лежа на песке, загорая, спал после обеда и потом шел в городской сад, полный укромных уголков. Дни полные и круглые, как бусы ожерелья и бесполезные как они, — дни, которые ничего не значили и были как озеро в стороне от проезжей дороги. Вынужденная праздность не тяготила, и даже скучая, тревожась без вестей, Сролик чувствовал радость существования, силу

молодости и веру в будущее. Никогда еще он так не любил жизнь, как в эти дни в Мерсине, выбитый из обычной рутины своих занятий и брошенный в чужой мир, за пределы истории.

К этим дням относится его дружба с Лизой, высокой, смуглой и чернокозой девушкой. Он познакомился с ней еще на „Сванетии“. Лиза жила на краю города у старой турчанки. Турчанка ходила за ней как за дочерью, убирала ее комнату цветами, повесила кисейный полог над ее кроватью. По вечерам Сролик, Шломо и чета Моревских приходили в эту комнату, и Лиза ставила им на стол миндаль, апельсины и фиги. Она готовила замечательный фруктовый салат. Но не салат привлекал Сролика. Шломо Зингер махнул рукой с комическим отчаянием: „Делать нечего, я отступаюсь. Сролик, ты выиграл. Пусть тебе будет на здоровье“.

Между Сроликом и Лизой был не роман, а то, что можно назвать „романтической дружбой“.

Однажды Лиза спросила его: „Каждый раз, когда Шломо начинает петь петухом в моем присутствии, ты напоминаешь ему про „гадар“. Что такое „гадар“?

Лиза принадлежала к другой организации молодежи и в Мерсине впервые встретилась с бетаровцами. Они наперебой старались „просветить“ ее, но не имели успеха. Слишком эмоциональные проповеди Моревского и Зингера не убеждали ее. Но Сролик ей imponировал своей сдержанностью и молчаливостью. Он не был из „говорунов“. Он был как чаша полная по края, из которой ни капли не переливается на землю. — „Что такое „гадар“?“ — спросила Лиза.

Это было одно из непонятных для нее слов бетаровского языка, слово для посвященных.

„Гадар“ — сказал Сролик — „это стиль жизни, который должен выражаться во всем, что ты делаешь.“

Все мы хотим свободы, независимости, счастья для себя, для народа и, в конечном счете, для всего человечества. Но выше всего — гадар, ибо и счастье, и свободу, и независимость можно иметь по разному: красиво и безобразно. Есть счастье свиньи, свобода дикого зверя и независимость преступника. Гадар — это красота и чистота, придающая смысл всему нашему существованию. Победим ли мы, — это зависит от многих условий не в нашей власти но гадар зависит только от нашего желания и решения. Ты знаешь, как некрасива, как отравлена еврейская жизнь в странах изгнания. Нет в ней полной красоты, все только „почти“, на всем пятно. В Эрец-Исраэль мы хотим осуществить идеал полноты жизни“.

На это ответила Лиза:

— „Каждое движение молодежи ставит себе схожий идеал благородства, джентльменства и моральной чистоты. Но как можно осуществить „гадар“ в жизни взрослых? Можно ли соблюсти „гадар“ в политике? Или торговле?“

К ее удивлению, Моревский, который слушал этот разговор не вмешиваясь, вдруг начал смеяться.

— „Ну, Сролик, что скажешь на это?“

— „Я не знаю как перевести „гадар“ на язык политики и, в особенности, войны. „Гадар“, по моему, — противоположность принципа „все позволено“. Есть вещи которых нельзя делать — во имя „гадара“. И во всяком случае, нельзя ими гордиться. И еще — надо помнить, что нет особенного еврейского „гадара“, как нет особенной еврейской свободы. Свобода и Гадар — одни для всего человечества, как солнце одно, хотя лучи его иначе светят, иначе греют в каждой стране“.

Лиза посмотрела в лицо Сролика, и ей показалось, что она видит перед собой живое воплощение гадара: мужественную молодость, чистоту и скромность,

которые не старались никого убедить, а просто были тем, чем были: гармонической целостью — чем-то новым в еврейской истории последних веков.

По вечерам, в комнате Лизы, Шломо Зингер, молодой поэт, декламировал написанные в дороге стихи.

Карманы его были полны листочков и черновиков, которые он непрерывно терял. Слушатели ждали терпеливо, когда Шломо найдет нужный листок, и начнется чтение. В стихах оживала пред ними вся эпопея их странствий, это был поэтический дневник, где они находили самих себя. Шломо перевоплощался в нелегального „оле“ — иммигранта, украдкой в ночи выходящего на берег.

К Сиону несли меня волны,
Кровавая буря несла

читал Шломо, постепенно повышая голос:

Не прибыл, отчизна, к тебе я
При ярком сиянии дня —
Как вор я прокрался на берег
При свете ночном фонаря...

Оживали воспоминания Москвы:

Я пел тебе, край мой родимый,
В славянской столице Москве:
Там ложью нас манят о братстве,
И вспомнить — нельзя о тебе!

запальчиво декламировал Шломо, подняв руку к невидимой „моледет“ — родине.

Но там, над Москвою-рекою,
Под звездами башен Кремля,
Я клятву принес, что с тобою
Увижусь, родная земля.

Воскресала Одесса, последний день, проведенный с братьями, оставшимися в неволе:

Я был среди верных в Одессе —

В убогом и темном углу я нашел их:
Сияли их лица, и жалкий их погреб
Был свят мне и дорог, как небо отчизны.

Горы Тавра, по дороге в Мерсину, Шломо приветствовал поэмой, где слышался отзвук громыхающего поезда:

Когда бы поднял меня Господь на высокую гору
И вдохнул молчаливую вечность в меня —
Локтями я распахнул бы скалы,
Я возмутил бы спящий покой громад
И в сердце гор зажег бы гнев восстанья!

„Спой что-нибудь полегче, Шломо“ — дразнила его Лиза — „сойди с вершин к нам, обыкновенным людям!“

И Шломо вытаскивал из кармана еще один листок:
Слушайте что я написал сегодня!

Дэй кафанну тмоль ваэмеш,
Дэй савальну, хореф там —
Окунусь я утром мая
В волны солнечных лучей,
Твари дышущей внимая
Буду вольный, свой, ничей.
Средиземный влажный нежный
Вольный ветер вьется вкруг,
И слагая стих небрежный,
Сам с собой смеюсь я вслух.
Чтоб у врат Ерусалима
С новой силой стали мы,
Загореть необходимо
Бледным выходцам зимы.

— Что меня привлекает в стихах Шломо — сказала Лиза — это их непосредственность и близость нашим ежедневным переживаниям. Иногда они даже черезчур близки. Например, когда он предлагает мне загореть, то он уже опоздал. — Я уже загорела больше чем надо.

Все рассмеялись.

Прошло несколько дней, и в Мерсину прибыл пароход „Атид“ из Хайфы.

В первый раз Сролик увидел израильских матросов: здоровые парни в коротких штанах хаки. Иврит в их устах звучал так же непринужденно и просто, как „идиш“ на улицах Вильны. Он был очарован. Сердце в нем дрогнуло. Это были „свои“ и — как в поэзии: то же содержание, но чище, крепче, сосредоточеннее. Грузовой пароход „Атид“ казался ему воплощением поэтического сна более конкретным чем стихи Шломо. Страна за линией горизонта имела чудесное свойство — обыкновеннейшие евреи превращались там в создания из легенды: строителей государства Израиль.

6 апреля 1941 года Сролик поднялся на палубу еврейского парохода и уехал в страну, где сны становятся действительностью.

Г л а в а п я т н а д ц а т а я

И З Р А И Л Ь

Год прошел, — и вот, в одно апрельское утро 1942 года, выехало такси из Тель-Авива, миновало улицу Герцля, пальмовую аллею Микве-Израель и свернуло на юг, на Ришон и Реховот, и дальше по направлению к Гедере.

Весна в стране, и темная зелень апельсиновых садов пронизана золотыми и оранжевыми искрами, откосы „квиша“ засыпаны красными анемонами, а по дороге непрерывным потоком движутся еврейские и арабские автобусы, грузовики, военные обозы, мотоциклы, и сбоку по стежке — мирные прохожие, пешком и на осликах.

Весна 1942 года. Третий год войны, немцы на египетской границе, немцы над Черным морем. Безвестная судьба еврейских масс, запертых в гетто Европы, непроницаемое безмолвие кладбищенских стен. Все это кажется невероятным сном здесь, — под горячим солнцем, в еврейских городах и колониях, которые еще никогда так не процветали, как в эти годы европейской и мировой войны.

В такси пятеро пассажиров: молодая женщина напрасно старается скрыть свое волнение, то вынимает платок из сумки, то прячет. Остальные — Сролик и его товарищи, бетаровцы из Польши. Все сосредоточенно молчат. Мужчины одеты празднично, свежесбриты, и трудно сказать, кто из них больше волнуется и растроган предстоящей встречей.

За Гедерой дорога сворачивает к военному лагерю Кастина. В это утро ожидается свежий транспорт войск из Трансиордании. Готовятся принять тысячу человек: это поляки из армии Андерса, они прибывают из глубины Советского Союза. За ними в прошлом советские лагеря принудительного труда, лишения и разочарования, бунт против сталинского командования, драматический исход из советской Средней Азии в Персию и Месопотамию. Ждет их — фронт в Италии, кровавые бои в Монте-Кассино, а до того пребывание в Палестине, в Эрец-Исраэль, где столько выходцев из Польши, что можно чувствовать себя почти как дома.

Такси подъезжает к воротам лагеря, и одновременно является на квише колонна из десятков запыленных грузовых машин, на них — поющие, кричащие солдаты. Поют польскую песню, машут бело-красными флажками. Сролик стоит у края дороги, но глаза его ослеплены пылью, ничего не видят. Вдруг с одного из грузовиков окликает знакомый, немного хриплый голос...

— „Сролик!!“

С машины соскакивает загорелый веселый солдатик. Теперь он видит всех встречающих и, в белом платье, свою жену, ту, что осталась в лесу под Вильной два с половиной года тому назад, Идет, распрямляя ноги, сияя улыбкой на все лицо. Он прибыл на место как корабль дальнего плавания, много было задержек в пути, много бурь и аварий, но в конце-концов он на месте, и груз цел. Теперь никто не отнимет у него радости встречи. И не в один день разгрузят багаж, который привез Менахем Бегин.

И вот стоят друг против друга товарищи. Менахем и Сролик. Одна из встреч роковых, меняющих течение жизни, какие бывают рано или поздно с каждым из нас.

В жизни Сролика не было более важной встречи и лучшего друга, чем Менахем. Жаботинский был больше чем отец. Менахем был ближе, чем брат. Жаботинский был далеко даже когда стоял рядом. Менахем был близко даже когда находился за тысячи километров. У Жаботинского учился Сролик как жить и верить. С Менахемом он жил и верил, и с ним делил заботы и труд каждого дня.

Это началось еще в Польше. Менахем — молодость Сролика. Есть люди, которые никогда не бывают молоды, не знают секрета молодости, — и другие, которые умеют быть молоды всю жизнь, за себя и за других. Еврейский народ стар, но сионизм — молодое движение. Сионизм должен быть молод и за себя и за весь народ. А в самом сионизме — Герцль был прирожденный отец, с его величественной осанкой и длинной черной бородой. Не был молод Вейцман, было в нем раннее благоразумие и высокомерие знающих себе цену людей. Жаботинский ворвался в сионизм с юношеским пылом. Жаботинский не только выглядел молодо, без малейшей солидности, без бороды, без фрака, без профессорского звания, с ремнем лейтенанта через плечо и форменной фуражкой, — но он и носил в себе дух жизнерадостной молодости, без которого нет будущего у еврейского народа. Жаботинский — молодость сионизма, молодость, которая пришла неожиданно для старших и озадачила их, потом шокировала, как неуважение к испытанной мудрости руководителей... Но со временем, и именно в те годы, когда Сролик подрастал в Бетаре, сторонники Жаботинского, десятками тысяч собравшись вокруг него, сделали из него „отца“, почти против воли. И незаметно скипетр молодости перешел в руки новых людей: Разиеля, Штерна, Бегина.

В 1942 году Менахем был моложе всех и молод за всех. Менахем был молодостью Сролика. Ему отдал Сролик всю любовь, все доверие, все силы жизни.

Между ними союз, начало которого не в Польше, не в Варшаве и Вильне, а гораздо дальше, в глубине еврейской истории, в Книге Царей. Давид с пращой идет на Голиафа, укрывается от погони, но верно хранит его дружба Ионатана. Мир стоит на дружбе, на содружестве верных. И он стоит на благородном стремлении и страсти молодости. Сролик с надеждой смотрит на Менахема, который крепче его, властнее, дерзновеннее.

Менахем Бегин: твердый очерк нижней, упрямой губы, почти насмешливый оскал зубов, пристальные, острые глаза. Общее впечатление — собранной силы и вызова. Лицо очень еврейское, лицо массового человека, мимо которого легко пройти в толпе, не заметив. И глуховатого тембра низкий голос, как уголек, который надо взять в руку, чтобы почувствовать, какой в нем жар и укрытое пламя.

Сролик не оратор, не вождь и не чемпион. Он лишен честолюбия — сама скромность. Менахем гремел, Сролик молчал. Менахем повел на штурм, Сролик остался в тени. Менахем удивил мир, а Сролик спокойно следил за ним и делал свое. Вместе они составляли одно целое, как две стороны одной медали.

В то утро, когда они встретились в пыли дороги у въезда в лагерь Кастина, — оба имели сознание, что начинается для них великий экзамен истории. Тот именно экзамен, к которому они готовились всю жизнь.

Немного было сказано в этой первой, торопливой встрече. Обнялись, поцеловались, условились о встрече в Тель-Авиве. Но уезжая Сролик чувствовал, что он переродился. Встрепенулась душа — пыль и усталость последнего года в Эрец сошла с него.

Менахем возмужал, окреп, солдатская жизнь оздоровила его. Советская тюрьма и лагерь закалили его. Не было в его душе иллюзий, сомнений, колебаний.

Жаботинский был похоронен в Нью-Йорке, Разиель погиб в Ираке, — море разрушения осталось за ними в Европе, война бушевала кругом, и не на кого было надеяться, не на кого рассчитывать. Действовать надо было немедленно. „Все сделаем сами, ни у кого спрашивать не будем“.

Сролик мягок, Менахем тверд, но у обоих общая черта: нет у них уважения к старым идеям и предрассудкам, привезенным из гетто, к старым привычкам и методам. Они прошли через огонь и воду — буквально. Восток им не импонирует. Они видели советскую действительность. Запад им не импонирует: он так же легко готов предать их в Эрец, как предал их в Европе. Они спаслись из моря крови и отчаяния не для того чтобы повторять ошибки старых профессоров в Иерусалиме или наивных кибуцников из Эмека.

...При воспоминании о кибуце Сролик хмурится. „Кибуц — наш ответ Гитлеру!“ или „Кибуц — разрешение еврейской исторической трагедии!“ Ох, эти еврейские мечтатели из кривых переулков и деревянных домишек нищих местечек и городков Восточной Европы! Их счастье, что удалось им своевременно уйти оттуда, окопаться на новом месте, где они могут безопасно повторять свои фразы о „братстве народов“ и „мировой революции“ под охраной английских штыков.

Но он не мог ничего объяснить Лизе. Девушка, которую он хотел повести за собой, показать ей дорогу — вырвалась от него, ушла в кибуц, как в монастырь. Напрасно он звал ее в город, туда, где куется политическое будущее страны. Лиза была возмущена что он — здоровый молодой человек — не записался добровольцем в Еврейскую бригаду. Как же так? Десятки тысяч юношей и девушек записались в бригаду, в помощь английской армии, по призыву Агентства, и она тоже записалась — хотя англичане не торопи-

лись воспользоваться их готовностью, но все равно: кибуц был не менее важен. Нешек ве мешек — „оружие и хозяйство“. Для нее судьба страны решалась на полях сражений с немцами. Это была только половина правды, и не самая важная. Немцев разобьют с нами или без нас, но есть задача, которую без нас никто не выполнит. Эту вторую половину правды он не мог ей открыть. И они расстались.

Сролик не был уже девственником из Мейшаголы. Но попрежнему женщины не играли роли в его жизни. Он был сдержан, держал сердце под замком. Он не был лаком на дешевые утешения. И жизнь его не баловала.

Первый год в стране был тяжел. „Бетар“ — разочарование. Вся Тенуа Леумит — „национальное движение“ — разочарование. Страна, где „сны превращаются в действительность“, оказалась также страной, поедающей своих детей. Тесная, маленькая страна, над которой нависла огромная тень войны. Хищные руки тянулись к ней с двух сторон, из ливийской пустыни и через Кавказ, к которому рвались армии Гитлера. Вся она напоминала Сролику повозку из басни „Лебедь, рак и щука“. Евреи, англичане и арабы. Лебедь рвется в облака, щука тянет в воду, а рак ползет назад. Повозка трещит, угрожая распасться на части. Еще жива была память кровавых столкновений между арабами и евреями, продолжавшихся три года, с апреля 36 до лета 39 года. Мировая война не разрешила спора, а только отложила его. Иерусалимский Муфти поехал на поклон Гитлеру. Мысль о арабских политиках, жадных, неспособных на доброе соседство, ничем не лучше погромной своры в Европе, возбуждала брезгливость. Иргун Цваи Леуми заключил в виду немецкого наступления перемирие с англичанами, которого не признал Авраам Штерн, а официальное сионистское руководство не признавало их обоих. Дея-

тели „новой“ сионистской организации не имели с молодежью общего языка. Они настаивали на легальности, на словесной оппозиции, а жизнь указывала единственный выход — восстание.

Арабы, как и евреи, были заинтересованы в устранении чужой власти. Но одновременно создалось положение, когда англичане купили себе двойную отсрочку — у арабов с помощью антиеврейской „Белой Книги“ 1939 года, у евреев благодаря общему фронту против Гитлера. Долго такое положение не могло продолжаться. Победа под Эль-Аламейном устранила немецкую угрозу, и снова ожил старый еврейско-британский спор.

Сролик болезненно переживал его фазы, находясь в Рош-Пине, в Галилее, куда он поехал в качестве учителя бетаровской группы молодежи.

Первые месяцы в стране — водоворот впечатлений. Как не была похожа действительность на представления виленских мечтателей! В Вильне или Варшаве на все был один ответ: „Эрец-Исраэль, Медина Иврит!“ Здесь на месте кружилась голова, и не было опоры под ногами.

Все казалось сразу и близким, родным, давно желанным — и неожиданно новым, полным непредвиденных трудностей и опасностей. Душа была оглушена, сердце сжималось, иногда он чувствовал себя как прохожий, забредший в заросли джунглей, где, — то шипит под ногой змея, то слышно близко храпение дикого зверя.

Что делать? Что делать?

Издалека доходят страшные вести. Почти вся Европа в руках Гитлера. Захвачены старые еврейские центры Западной Европы, миллионы евреев Литвы, Белоруссии и Украины в его руках, и кровь холодеет

при мысли, что в эту минуту делается в оставленной Польше. А он преподает детям в Рош-Пине грамматику и историю. Кошмар не оставляет его ни днем, ни ночью. Надо ковать оружие, еврейское оружие, надо действовать, подходят крайние сроки. Для этого он остался в рядах национальной организации. Но в ней — разброд и несогласие. В Рош-Пине он натолкнулся на штернистов, людей, которые откололись от Иргуна Цваи Леуми. Там спорят страстно, обвиняют друг друга. Что делать?

Еврейское население Палестины, „Ишув“, живет со дня на день, новостями с фронтов, слухами один страшнее другого. А тем временем легкие заработки военного времени настраивают примирительно по отношению к англичанам. Страна становится центром снабжения для союзных армий на Среднем Востоке, английской базой. Десятки тысяч рабочих — шоферов, строителей, металлистов, текстильщиков — работают на войну. Ишув может ждать, у него есть время. Он не подымет руки против англичан. Между ним и остальным еврейским миром война вырыла пропасть. От времени до времени случаются эпизоды, потрясающие общественное мнение: идет ко дну пароход с сотнями беженцев из Европы, которых английская администрация не допустила до берегов страны, взрывается в порту Хайфы другой пароход, который англичане выгнали в море, переполненный беглецами ... но политика „Белой Книги“ проводится неукоснительно, а одновременно все усилия „легальных“ сионистов направлены на создание еврейской боевой части в составе английской армии. Постепенно нарастает в Сролике ощущение какой-то кошмарной, гнетущей бессмыслицы. Светит солнце, сияет морская гладь, продолжается течение ежедневной жизни, дети ходят в школу, взрослые на работу, — и это все есть тупик, тупик политический и моральный, оцепенение, паралич воли за видимой суестью ...

Что делать?

Сролик бросил Рош-Пину и вернулся в Тель-Авив.

К этому времени он уже был членом Иргуна. Вступление в Национальную Военную Организацию состоялось без излишних церемоний, которыми действовали на воображение зеленых юнцов, но в данном случае они были ненужны. Принял его старый товарищ по Варшаве. Револьвер и Библия на столе, слова присяги, из которых каждое было продумано раньше. Все вместе взяло не больше полчаса.

И снова на улицу, в сутолоку ежедневных забот. Надо жить... Он попробовал физическую работу. И оплачивается хорошо, и не зазорно на родной земле взяться за любую работу. Чем тяжелее, тем лучше: может быть, поможет заглушить душевную тревогу.

В центре города, на ул. Кинг Джордж, срывают асфальт. Сролик работает электрическим буром. Через час ладони покрыты волдырями, ноет тело невыносимее к зною и непрерывному напряжению. Пот слепит глаза, немеют мускулы, ноги дрожат... В паузе, когда рабочие садятся в тени съесть свои бутерброды и запить стаканом апельсинового сока, он как мешок валится на землю, и нет у него сил подняться. Он зол на себя: нет, он не рабочий, он только книжник, интеллигент. В какой-то момент он начинает ненавидеть и бояться этой работы, притупляющей мозг, делающей равнодушным ко всему на свете. Он присматривается к рабочим: это люди ремесла, они заливают землю асфальтом быстро, гладко и ровно, работа кипит в их руках. А политикой пусть занимаются „лидеры“. Они уж знают. Подшучивают над его слабостью, немелостью: „ничего, научишься, парень“. А пока дают ему в руки тяжелый шланг с водой... надо идти следом за потоком асфальта и поливать его сразу водой, без задержки. Резиновый шланг тяжел и все время путается, загибается в руках, падает на землю.

Нет, уж лучше быть хорошим учителем, чем плохим рабочим.

Из команды („нецивут“) Бетара Сролик скоро вышел. Лежит перед нами его письмо от 18 июня 1942 года, адресованное тогдашнему заместителю нацива. В нем Сролик объясняет мотивы, заставляющие его просить об освобождении от обязанностей офицера штаба („кцин-нецивут“).

„Во-первых: нецивут, как таковая, не существует. От времени до времени собираются на заседание начальники отделов и обсуждают технические вопросы.

„Во-вторых: нецивут не оказывает никакого влияния на ход дел в движении.

„В третьих: деятельность нецивут, поскольку она вообще имеет место, носит случайный характер и по большей части направлена на внешний лоск, без заботы о повышении морального уровня и военного потенциала людей...“

Надо ли продолжать этот обвинительный акт? 5 июля заместитель нацива ответил сухим, коротеньким письмецом:

„Просьбу об увольнении принимаю и освобождаю Вас от обязанностей члена нецивут и начальника отдела культуры. Вам надлежит продолжать работу в качестве заведующего семинаром и подготовить следующий выпуск бюллетеня „Инструктор“.

Письмо Сролика отражает глубокий кризис, через который он прошел в стране. Дело не кончилось просьбой об отставке. И после нее Сролик продолжает работать в движении, с которым был связан неразрывно, и продолжает бунтовать против его бездеятельности.

Полгода спустя, 15 января 1943 года, мы находим письмо за подписью одного из тогдашних руководителей Бетара, адресованное Сролику:

Бетаровцу И. Эпштейну,
секретарю Нецивут
в Тель-Авиве.

В ответ на Твое письмо от вчерашнего дня за номером... сообщаю Тебе, что Шильтон (т. е. верховная инстанция в Лондоне) знает о положении дел в израильском Бетаре и не прекращает усилий, чтобы найти удовлетворительное решение трудностей...

Итак, Сролик апеллировал в Лондон, где находилось главное командование... Об остроте, с какой написал свое письмо Сролик, свидетельствует конец ответного письма:

— Мы обращаем Твое внимание на содержание Твоего письма, несоответствующее достоинству человека, занимающего высокий пост в Бетаре. Пока ты официально не освобожден от несения своих обязанностей, нельзя тебе уходить с работы, а предъявление „ультиматума“ Шильтону противоречит уставу Бетара и его целям.

Письмо, которое здесь названо „ультиматумом“, не сохранилось, но представить его содержание нетрудно. Известно, как остро переживали прибывшие из Европы активисты, — а в особенности как Сролик, честные и прямые, ждавшие от движения какого-то чудесного, героического подвига, — то переходное время. Не было людей, не было сил, организации, плана действий и согласия. Со смертью Жаботинского движение, созданное им, находилось в состоянии замешательства и нерешительности. Все эти люди, как солдаты, мобилизованные для боевого задания и в последнюю минуту очутившиеся без командования и вождя, были растеряны, полны гнева и горечи... Один сильный человек, готовый взять на себя ответственность и способный повести их за собой, мог превратить их в короткое время в ударную силу.

Сролик два года ждал появления этого сильного человека.

Душевный покой и силу выживания, которых не могли ему дать люди и партийная работа, дала ему природа страны, — святая земля родины, которую исходил он из конца в конец, один или с товарищами.

Святая земля? Если бы кто-нибудь сказал Сролику, как скоро бессознательный остаток тысячелетней религиозности предков уступит место трезвейшему подходу с точки зрения экономики или политики, он, может быть, и не огорчился бы. Если бы кто-нибудь сказал Сролику, что он из рода последних странников, кто приносил из изгнания благоговение к этой земле, единой в мире, он, может быть, нашел бы в этом даже положительный исторический смысл. Для иммигрантов позднейших времен, как и для детей, рожденных в независимом Израиле, страна не была свята, земля была их скудным достоянием, предметом вечных забот и хлопот. Но в жизни Сролика было место для глубокого и по детски чистого чувства святости природы и земли Израиля.

В день, когда трубил Шофар, он стоял под Стеной Плача в стенах старого Иерусалима, и ему казалось, что древние плиты звучат и звенят в ответ трубе молодого бетаровца — его товарища. Ранней весной он исходил горные тропы Галилеи, сидел над Озером, в которое гляделись тысячелетия, как в зеркало вечности, и следил за огнями Эн-Гева на другом берегу, когда солнце садилось за горы. Душа его терялась в просторах родной земли. Летним утром он садился где-нибудь на откосе дороги между Рамат-Ганом и Петах-Тиквой и часами смотрел на этот бедный пейзаж, населенный призраками прошлого и видениями будущего.

Дорога шла вперед, струилась, как живая река, и он был один со своими мыслями. Мысли куда-то исчезали, — и тогда сходило на него особенное спокойствие, уверенность и сила, для выражения которых он не находил слов. Этот пейзаж, этот край, эти равнины

и горы, замершие в ожидании какого-то чуда, — не ждали поэтов и были оставлены пророками. Другие, простые и сильные как звук шофара, слова должны были прозвучать здесь и разбить тишину. Кто их скажет?

В то апрельское утро 1942 года, когда у ворот Кастины встретились Сролик и Менахем, проснулась надежда в сердце многих, — и новые слова, воистину простые и грубые, как звук шофара, начали расти и слагаться в новую песню — песню еврейского восстания.

Г л а в а ш е с т н а д ц а т а я

„Р А К К А Х“

История Иргуна (полное имя: „Иргун Цваи Леуми“, сокращение: „Эйцель“) еще не написана, и еще не близко время, когда это имя перестанет возбуждать в одних дурную кровь, а в других безграничное восхищение.

Одни начинают историю Иргуна с того выстрела, который отдал молодой Жаботинский в 1920 году во время первого погрома в Иерусалиме. Другие — со времени первого раскола в Хагане, со времен Гидеона и Розенберга, со времен Давида Разиэля и Якова Меридора. Но для нашего Сролика дни Иргуна или Маамада начинаются с прибытием в страну Менахема Бегина.

Прошло почти два года со времени встречи двух друзей у ворот Кастины, когда — 1 февраля 1944 года — появилась на стенах Тель-Авива прокламация Иргуна об объявлении войны „британскому захватчику“. Два года не прошли даром. Первая „реквизиция оружия“, как на языке Иргуна назывался налет на английский склад амуниции, главный источник снабжения повстанцев, состоялась в апреле-мае 1943 года. В июне того же года начала действовать тайная радиостанция Иргуна. Когда в начале 1944 года люди Иргуна приступили к систематической кампании против британской власти, они себя не считали „террористами“: у них появилось новое сознание, небывалое в еврейской истории со

времен Маккавеев, — что они представляют собой „освободительную армию“ Израиля.

Этим был брошен вызов не только британской империи, которая цеплялась за свое традиционное владение на Востоке, как за прекрасный сон, с которым жаль расставаться. Вызов был брошен и традиционной еврейской ментальности: „не убий“, не сопротивляйся оружием даже и тогда, когда тебе угрожает смертельная опасность. Вызов был брошен и тем правительственным сферам в сионистском движении, которые, очевидно, не могли себе позволить вооруженного сопротивления, ибо были слишком экспонированы, а с другой стороны без нарушения своего авторитета не могли признать за „террористами“ права на самочинные действия. С точки зрения этих „официальных“ сионистов и лидеров, поддерживающих „нормальные“ отношения с англичанами, люди Иргуна были „поршим“ — отщепенцами. Историческая диалектика создает видимое противоречие между силами, которые равно необходимы для целого и разными путями стремятся к общей цели. Но в те годы никто не был ни достаточно великодушен, ни настолько дальновиден в сионистском движении, чтобы признать эту взаимозависимость в противоречии.

„Ц в а Ш и х р у р“ — „Армия Освобождения“ — требование эвакуации страны чужими и передачи власти в руки временного еврейского правительства — таковы были новые слова, которые прозвучали в стране и положили начало действительной революции, как в моральном, так и в политическом смысле слова. С лозунгом „Р а к - К а х!“ родилась мировая известность Иргуна. „Т о л ь к о т а к!“ — огнем и кровью! У одних этот лозунг вызывал возмущение, у других насмешку: „Англию хотите поставить на колени?“ — Но дело было не в Англии. Дело было в каком-то перерождении внутреннем, в крутом повороте духа. Ури-Цви Гринберг

стал поэтом национального восстания. Но больше чем поэты были те, кто составил первое воззвание Иргуна:

Евреи! Боевая молодежь не остановится перед жертвами и мучениями, кровью и страданиями. Не покорится и не положит оружия, пока не обновятся дни наши, как в прошлом. Пока не будет обеспечена нашему народу родина и свобода — честь, хлеб, справедливость и правосудие. Если вы придете ей в помощь, — то увидите своими глазами скоро, в ближайшем будущем, возвращение в Сион и восстановление Израиля.

Из-за этих строк смотрят на нас глаза Сролика. Он был чужд поэзии, но „больше чем поэт“ был в те дни каждый, кто бросал в лицо английскому военному суду слова гнева и обвинения и шел на смерть без страха. „Больше чем поэт“ был Дов Грунер в письме, которое перед смертью написал своему командиру.

Важно понять, что Иргун влиял не только на тех, кто его поддерживал и ему сочувствовал, но и на тех, кто с ним боролся. Одним только фактом своего возникновения он изменил всю атмосферу страны и самосознание евреев во всех странах мира. Выдававшие английской полиции „террористов“ находились под его влиянием так же как и те, кого выдавали. Народ, в котором мог возникнуть Иргун, уже не был — прежний народ. Проклинавшие его уже не были теми, какими они были раньше. „Иргун“ поднял еврейский народ на новую высоту, — наравне со всеми народами боровшимся за свое освобождение, стихийно, безрассчетно и страстно. История не делается „праведниками“ и не делается „грешниками“, хотя есть в ней поле действия и для праведных и для грешных. История делается людьми, готовыми жертвовать жизнью для достижения своих целей. И нет в истории еврейского народа — со времени мучеников „во имя Божие“ — другого примера готовности на добровольную жертву, как в истории Иргун Цваи Леуми. Недаром его величайшие герои —

не те, кто остался в живых, а те кто погиб в петле палача — „убиенные за Царство“.

В воспоминаниях главаря Иргуна, Менахема Бегина, в книге „Мятеж“, мы находим драматический отчет о его встрече с посланцем сионистской общест-венности, — той общественности, которая противилась Иргуну. Его собеседником был тогдашний руководи-тель „Хаганы“, через несколько лет открыто отказав-шийся от сионизма, — Моше Снэ. Бегин сказал ему:

„Я не знаю, удастся ли боевой организации, к ко-торой я принадлежу, решить судьбу нашего народа. Мы вышли на войну, и еще не знаем, суждена нам по-беда или поражение. Возможно, — и мы хотим этого, — что то, что мы делаем и сделаем, станет историче-ским событием; но возможно также, что выйдет из этого „трагический эпизод“, не более. Мы, во всяком случае, выбрали путь борьбы, ибо мы убеждены, что без войны ничего не добьемся... А что касается ответ-ственности, то и мы несем ответственность за судьбу народа...

И на это ответил ему человек, говоривший от имени Бен-Гуриона и официального сионизма — крипто-коммунист и будущий отступник Моше Снэ:

— Ты ошибаешься: — мы, и только мы одни несем ответственность.

К счастью для еврейского народа, „руки“ Моше Снэ не удержали ответственности, ноша была слишком тяжела, и в конце-концов он совсем ушел из сионист-ского лагеря. Теперь мы знаем, что те, кто хотел весь еврейский народ поднять на борьбу с враждебными силами, на мятеж, — намного преувеличили свои силы, — и, без всякого сомнения, преувеличили в своем доверии к моральным силам и боевому потенциалу мирового еврейства. Он не поддержал их в своем большинстве ни на месте, ни в странах Диаспоры.

Менахем Бегин считался с этой возможностью, когда выразил опасение, что руководимый им бунт может остаться „трагическим эпизодом“. Но насколько понятно и простительно это патетическое преувеличение, эта щедрость в доверии со стороны тех, кто атаковал врага в лоб, — по сравнению с грехом тех, кто в страшные, решающие годы не сумел и не хотел мобилизовать его сил сопротивления в полной мере! Об „ответственности“ говорили те, кто уклонились от ответственности, и впоследствии не хотели признать своей доли вины в несчастиях и неудачах народа.

Сролик стал членом Иргуна с той естественностью, с какой дерево после цветения весной дает плод осенью, зерно превращается в муку и хлеб, и мысль, до конца продуманная, становится делом. Вся его жизнь вела к этому, и не имела бы иначе смысла. Той же дорогой шли тысячи и десятки тысяч еврейской молодежи, которые могли ошибаться и могли уклониться в сторону, но их воля была чиста, и разум прост и прозрачен в мотивах и логике. Сролик выражает наилучший народнейший тип еврейской молодежи, как в своих достоинствах, так и в недостатках.

В 1943 году он исполнил элементарную повинность иргуниста: поехал в Шуни и прошел там краткий курс военной подготовки.

Шуни — старая турецкая крепость между Беньяминой и Зихрон Яковом. Толстыми стенами и бойницами она напоминает средневековый замок, а ее подвалы относят к римским временам. В то время находилось там бетаровское гнездо, и туда посылали людей Иргуна под команду опытных офицеров, которые учили их обращаться с оружием. „Рак-Ках“ значило, что не должно было быть ни одного здорового человека в стране, который бы не умел стрелять. Слишком поздно взялись за науку братья и дети тех, кто погибал в гитлеровских гетто и газовых камерах.

Четыре года спустя прибыл в Шуни и автор этой книги, которому по возрасту можно было уже и не учиться военному ремеслу. Среди инструкторов Шуни находился его сын, — а комендантом был Д. К., один из тех „птенцов“ Жаботинского, которые точно родились для солдатского дела. Д. К. лично показал автору разные типы револьверов, научил разбирать и собирать их, показал разницу между канадским и английским ружьем. В заключение моего визита я вышел на квадратный двор Шуни, всадил, при общем одобрении, пять пуль из винтовки в мишень, — и уехал. Во времена Сролика инструктором был польский офицер, по имени Компаньский. Стрелять в будущем ему так и не пришлось. Сролику было 29 лет, когда он впервые взял ружье в руки. Боевым офицером он не стал. Он также не принадлежал и к „Мифкада“ — оперативному командованию Иргуна. Но с течением времени некоторые важные функции перешли в его руки, и он стал одним из самых близких помощников и советников М. Бегина. В Иргуне он принял имя и звание „гундар Авиэль“. Имя звучит военно, но работа, которую делал Сролик, была, главным образом, воспитательной и культурной. Он и в Иргуне остался учителем, объясняющим цели и смысл движения, редактором нелегального бюллетеня Иргуна, который невидимые руки расклеивали на стенах во всех углах страны. Но ни одно важное и принципиальное решение не принималось командованием Иргуна без его совета и не даром назвал его Менахем Бегин в своих воспоминаниях — своим братом и своей совестью.

Первой станцией Сролика в Тель-Авиве была квартира на улице Шенкин, 16. Здесь была одна из ячеек иргунской молодежи, — одна из тех квартир, двери которых были всегда открыты для приезжих из Польши, связанных с движением. Несколько домов дальше находилось кафэ Ленчнер — штаб-квартира людей Иргуна. В двух комнатах квартиры на Шенкин

16 помещалась школа для писания на машинах, трещали гестетнеровские машины-размножители... в двух других жила хозяйка, одна из тех женщин-матерей, женщин-сестер, от которых как-бы излучается тепло и ласка, и которые умеют своей добротой и человечностью заразить все свое окружение. Ее сын-подросток, разумеется, тоже принадлежал к Иргуну. Мужа не было — он был отрезан войной и пропал без вести. Но жена не осталась одна: две бедные комнатки всегда были полны друзей, и дверь не затворялась до поздней ночи. Популярнейшая газета страны была основана популярнейшим журналистом страны в столовой этой квартиры, и не раз приходила туда английская полиция с обыском и арестами жильцов.

Об этой квартире надо упомянуть, ибо она и ее хозяйка — мать и сестра иргунистов — оставили некоторый след в короткой жизни нашего героя. Сохранились письма Сролика — в тоне глубокого уважения — к хозяйке квартиры. Здесь именно, осенью 1946 года, за два месяца до смерти Сролика, автор настоящей книги встретился с ним и провел с ним в беседе полчаса, не зная, что эта встреча будет и последней. И здесь же, в той же квартире, которая в сохранившихся документах указана как его постоянный адрес, — писалась и эта книга, за тем же столом, за которым он сидел не раз.

Между 43 и 46 годом Сролик жил на улице Мазе 75. К этому времени относится его работа в гимназии „Пика“ в Петах-Тикве.

Все определилось в его жизни и пришло в равновесие. Он был учителем в гимназии полдня, и отдавал Иргуну другие полдня. Он вел двойное существование, без того, чтобы кто-нибудь догадался до последнего дня о его тайне. В квартире на Мазе 75, как и в квартире на Шенкин 16, жили люди, преданные национальной идее. Менахем Бегин имел ключ от квартиры.

Сюда приходила его жена для встреч с друзьями, когда и ей пришлось перейти на нелегальное положение, здесь происходили важные собрания, и здесь чувствовал себя Сролик как в родной семье.

В сущности, это была жизнь, которой могли бы позавидовать многие люди нашего смятенного поколения, жизнь гармонической простоты, трезвая и строгая, как музыка Баха.

Сролик жил в среде товарищей, которые его любили и ценили, и он их любил и ценил. Судьба сохранила его от соприкосновения с дурными людьми, с ненавистниками и врагами, и никогда не пришлось ему испытать самое страшное в жизни, — зависимость от врага. Многие из его друзей были под подозрением, подвергались аресту и преследованиям, были высланы из пределов страны или заключены, — но его не коснулось подозрение, и он был горд тем, что ни разу не был арестован. Спокойно и невозмутимо он смотрел в будущее.

За последние годы ему посчастливилось встретить девушку — товарища по Иргуну — которая стала его невестой. Он был здоров и в полном согласии со своей совестью. Он построил себе жизнь, как здание из двух этажей. Первый этаж был открыт для всех — это была его работа в школе и официальное положение учителя, любимого учениками и уважаемого коллегами. Верхний этаж была работа в Иргуне. И если говорить о „махтерет“ — подполье — то названия подполья скорее заслуживает его педагогическая деятельность, за которой он скрывал главное содержание своей жизни. Для Сролика Иргун не был „подпольем“ — это был мир, полный любви, товарищества и дружбы, царство света и смысла. Две половины его существования не были в противоречии, — они дополняли одна другую, слагались в аккорд.

Итак — жизнь без диссонансов, как ясный день. И в этот ясный день ворвалась катастрофа. Трагическая развязка оказалась ближе, чем он думал. Были у него ученики в школе — но он не дожил довести с ними до конца курс обучения. Были у него дорогие и близкие люди в Европе, —но он не дожил увидеть их лицом к лицу. Борьба Иргуна увенчалась победой, но ему не дано было разделить триумф его товарищей, увидеть торжество дела его жизни. В полдороге оборвалась нить его дней, — и девушка, которую он любил, стала женой другого.

Г л а в а с е м н а д ц а т а я

С Е М Ь Я Б О Е В А Я

Число платных функционеров Иргуна, получавших спартанский оклад и отдававших все свое время организации, никогда не превышало 30-40 человек. Это был штаб армии добровольцев. Трудно представить себе более дешевый аппарат и более экономное управление машиной, включавшей тысячи людей, боевые группы в десятках пунктов, склады амуниции, оружейные мастерские, транспорт, радиостанцию, типографию, отдел пропаганды, службу связи и информации.

Сролик не принадлежал к этому штабу платных функционеров. Он сам зарабатывал на свою скромную жизнь и был материально независим. Неправильно, однако, сказать, что во главе Иргуна стоял „штаб“. Во главе Иргуна стояло братство людей, связанных общим делом и общей верой. Сролик был одним из самых преданных членов этого братства.

С течением времени выработался термин „боевая семья („мишпаха лохемет“), означавшей, что люди, посвятившие свою жизнь осуществлению идеала, связаны личными отношениями. Эйцель в целом был „боевой семьей“ и очень молодой семьей, со своими особенными обычаями, традициями и почитанием предков. Жаботинский был „отцом“ этой молодежи, а Герцль и Нордау — ее патриархами. В более же узком смысле термин „мишпаха лохемет“ относится к кругу непосредственных руководителей и создателей организации. Этот круг пережил времена „подполья“ и британской

власти, а в независимом Израиле составил ядро новой политической партии.

Однако, во времена, предшествовавшие созданию государства, не было „партии“, — да и „армией“ можно назвать эти сотни и тысячи молодых людей, таинственно появлявшихся в разных пунктах и проваливавшихся сквозь землю по миновании надобности, только в очень условном смысле. Еврейский характер Иргуна ни в чем, может быть, не выражается так, как в этом семейном характере, в теплоте и сердечности взаимной связи, во взаимном доверии, которое оправдалось вполне, ибо (кроме одного-единственного и не вполне выясненного случая) Иргун до последнего дня не имел предателей и доносчиков из своей собственной среды. Семья, как известно, составляет вековой устой еврейского быта. И потому было вполне естественно, что первое объединение молодежи, поставившее себе революционную цель, приняло форму большой семьи.

Идеологию Иргуна, т. е. то, чему там обучали новых адептов, составлял так называемый „военный сионизм“. Нельзя сказать, что идеология составляла его сильную сторону, — но для своего времени и в условиях, предшествовавших возникновению государства, она была достаточна. Тогда не было времени для дискуссий и не приходилось слишком заглядывать в будущее. Идеология Иргуна была не ложной и не верной (впрочем, чья доктрина в те годы была „верна“ в еврейском мире?), но она была драматична. Можно сказать о ней, что она была односторонне-узкой, частично выражавшей одну необходимость национальной борьбы. Был сионизм политический — Герцля и Жаботинского — он надеялся спасти евреев путем дипломатических переговоров, верил в то, что основание еврейского государства лежит в интересе европейских народов и не противоречит интересам народов Востока. — Был сионизм „конструктивный“, Вейцмана и социалистов-кибуцников, — эти хотели преобразить евреев

путем мирного, созидательного труда. — А теперь пришло время, когда дипломатам и „строителям“, зашедшим в тупик британской непримиримости, надо отступить и дать место военному сионизму, вооруженному выступлению, единственно способному предохранить дело сионизма от крушения. — Это был исходный пункт, откуда вытекали все остальные пункты программы, но он один был уже вполне достаточен и понятен каждому мальчику и каждой девочке, выходившим ночью клеить воззвания Иргуна на стены и окна тель-авивских магазинов.

Вернемся к Сролику, который ни в какой мере не был идеологом и, к счастью, не был также теоретиком в движении, не питавшем никакой симпатии к „докторам философии“, мудрствующим через край.

День Сролика начинался рано, в 6.30, в маленькой комнате на улице Мазе. В комнате минимум мебели. Единственное ее украшение — гардины на окне. Увидев гардины, Сролик сказал хозяйке: „вы их повесили, чтобы я не забывал, что комната ваша, а не моя“. В 7 часов он едет в Петах-Тикву 15 километров за городом. Идти к автобусу недалеко: его дом — третий с угла от дороги в Петах-Тикву.

Прибыв на место, он завтракает в „Тнуве“ — кооперативной молочной — очень скромно и экономно: стакан чаю и молока с булочкой. Сролик вообще неприхотлив в еде, неизбалован: **ретах мит а маранц** — редька да апельсин, что еще нужно человеку? Это осталось в наследство от отцов, которые за каждый кусок хлеба, прежде чем положить в рот, благодарили Бога. Из „Тнувы“ в школу, и там остается Сролик до часу дня, иногда и позже. Он отдается работе преподавания с увлечением и любит возиться с детьми, с библиотекой. Домой он возвращается со стопками ученических тетрадей, над которыми будет сидеть до поздней ночи.

Рахель, хозяйка, зорко следит за своим жильцом. Она с мужем — старые вильняне-бетаровцы и в курсе всех его дел: не только школы и учеников, но и той, д р у г о й, деятельности. Расписание уроков висит на стене, и каждый день, прибирая комнату, Рахель читает: „**танах — тева — иврит — хешбон**“ -- библия, природоведение, еврейский, арифметика — и точно знает, чем он занят в эту минуту. В подробности д р у г о й его деятельности Рахель не посвящена. Когда приходят люди на совещание к Сролику, она выходит в кухню. Одно условие поставили хозяева квартиранту: никаких складов нелегальной литературы, никакого оружия. Соседи не должны ничего подозревать. Единственный тайник, который имеется в комнате, с ведома хозяев находится в выдолбленной ножке стола. Там он держит секретные документы. Был день, после того, как англичане нашли тайную типографию, где печатался „Херут“, бюллетень Иргуна, когда Сролик — на случай ареста — рвал письма, жег бумаги и закоптил всю кухню. Обошлось на тот раз. Утром приходится его будить: он поздно приходит домой, и еще долго, до часу ночи, горит огонь в его комнате. Он спит потом крепко, без сновидений.

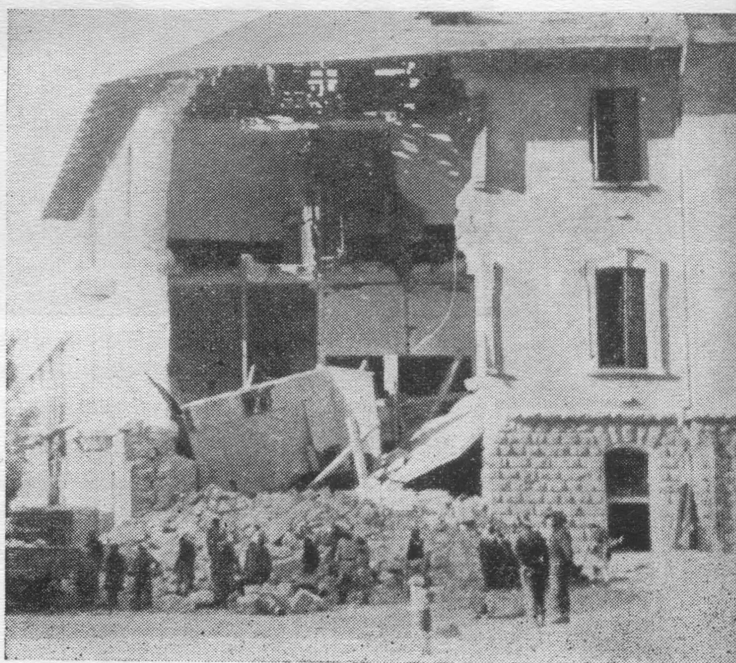
Все соседи согласны, что Израиль Эпштейн очень милый, воспитанный и приятный человек. По вечерам иногда собираются гости у его хозяев или у других вильнян. Пьют чай, разговаривают. Сролик мало говорит, он больше любит слушать. Рассказывают о том, о чем говорит вся страна: о последнем нападении Иргуна, о взорванных зданиях в Иерусалиме или Хайфе, об английских подлостях... Говорят о таинственном вожде Иргуна: Менахем Бегин скрывается в кибуце, так твердит молва. Это мужчина огромного роста, бородатый. — „А вы читали сегодняшнюю прокламацию Иргуна?“ — Сролик, который сам выпустил эту прокламацию, сидит в стороне и слушает с серьезным лицом. — „Хороший парень“ — замечает кто-то — „но



...Надо было атаковать
институции, центральные учреждение,
и пути сообщения...

Наверху:

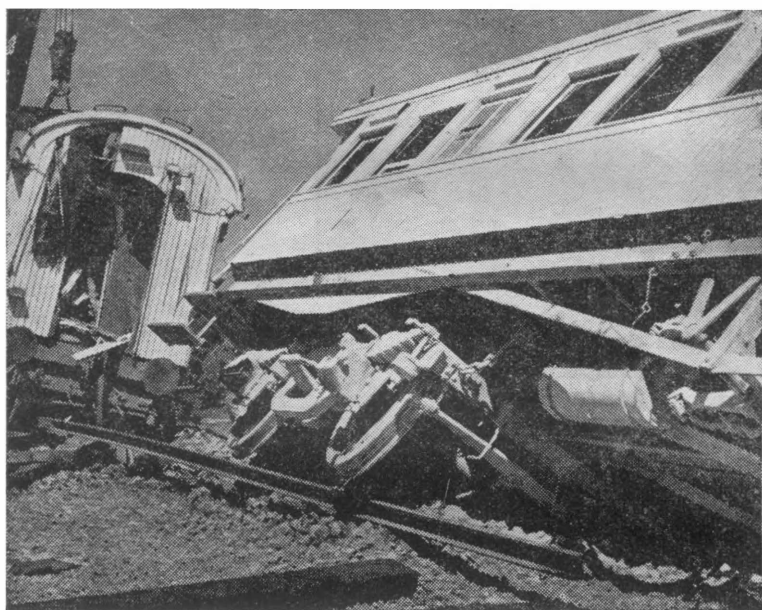
Взрыв управления британской
гражданской администрации
в Иерусалиме 22.7.46



Внизу:

Взрыв полицейского управления
в Иерусалиме 3.7.44

**„Взрывались здания, полотно железной дороги,
аэродромы, нефтепровод, атаковались
укрепленные позиции англичан...“**



15.5.47 вблизи Реховот

простоватый: в наше время надо больше интересоваться политикой“.

В день смерти отца Сролик зажигает свечу и прочитывает главу из Библии под портретом Герцля. Но он остерегается хотя бы жестом выдать свое отношение к газетным новостям, полным имен павших в деле или известий об аресте и изгнании сотен близких ему людей. Он прекрасный конспиратор, в этом помогает ему его педантизм, врожденная точность и рассчитанность во всем. Он всегда сохраняет спокойную голову, не горячится. Обсуждается вопрос, должны ли люди Иргуна всегда иметь при себе оружие и оказывать неперенное сопротивление при аресте, как штернисты. Сролик категорически против. Узнав, что старый товарищ его и бывший учитель по виленскому семинару Моревский выскочил из третьего этажа, спасаясь от преследователей, и сломал себе ногу, он только иронически усмехается: „экий спортсмен!“ — Нет, с ним такой глупости случиться не может. Он просто не понимает, как могут люди до такой степени растеряться.

Сролик занят в типографии Иргуна, ведет инструкторские курсы в разных пунктах страны и находится в непрерывной связи с Менахемом. Он — один из пяти-шести людей, которым известно местопребывание „мефакеда“, и почти каждый день он видит его — в Шхунат-Хассидоф под Петах-Тиквой, где скрывается Бегин, или позже на улице Бен-Нун в Тель-Авиве. Когда сомнения бушуют „мефакеда“, Сролик со своей ясностью и спокойствием возвращает ему уверенность и равновесие духа. Сролик ведет переговоры с деятелями, расположенными к Иргуну, и через доверенных лиц держит контакт с людьми „Хаганы“. К нему непрерывно поступают донесения, отчеты, документы. Он мечтает о том, чтобы когда-нибудь написать историю этих бурных дней и собирает материалы. У него рассчитано время с утра до вечера. Он любит прейтись ночью, думать на ходу. Склад и печатня Иргуна

находится на ул. Жореса в комнатке, где днем нельзя открывать ставен. Сролик спокойно проходит по улице, в светлом костюме, отвороты отложного воротника сияют белизной, зеленый галстук тщательно повязан, рука в кармане. Что в кармане? — ключи. Это ключи к тайнам Иргуна.

„Боевая семья“ разрастается в неожиданном направлении. Рождаются дети. Дети рождаются у матерей, мужья которых должны скрываться от британской полиции, и матери сами вынуждены прятаться от нее, — или у жен арестованных и в последние месяцы вывезенных в Эритрею, в Кению. Эти дети и их молодые матери находятся на попечении Сролика. Он взял на себя добровольно эту роль, и она подходит ему как нельзя лучше. Он со своим целомудрием и деликатностью, неизжитой нежностью, накопленной в холостяцком одиночестве, — незаменимый опекун и рыцарский спутник Али, жены Бегина, за голову которого назначена награда, и Сары, жены Ютана, вывезенного в Африку и Фанни, жены Моше Гольда, арестованного в 1944 году. Он считает своей святой обязанностью быть им в помощь, и они заменяют ему семью, близких и родных.

Менахем Бегин под самым носом британской полиции успевает стать отцом еще двух детей, кроме старшего, Бени. Когда приходит время Але рожать, ее, под именем „г-жи Эпштейн“ помещают в клинику на ул. Лиленблум, где только главный врач посвящен в тайну, а Сролик фигурирует в роли отца. На счастье рождаются дочери, и отпадает излишняя complication с обрезанием. — „Но какой странный отец“ удивляются сиделки: „во-первых он забыл попросить, чтобы ему показали ребенка... да с женой какой-то странный, не поцелует, не показывает нежности никакой...“ Первые именины Бени, старшего сына Менахема, происходят у Сролика на Мазе 75. „Дядя Израиль“ самый любимый у Бени, он всегда приносит какой-нибудь

подарок, игрушку или новые штанишки, и любитесь им... Он же — тот, кто консультирует при покупке пальто, блузки, нянчит ребят и бегаёт за врачом. Однако, если надо пойти в кино с Сарой, красивой, чернобровой и смелой в обращении женой сосланного Ютана, Сролик вдруг морщит нос и отказывается. — „Почему?“ — „Что люди скажут? Я должен оберегать твою репутацию“. Сролик охотно ходит в кино с Эдит, муж которой не арестован, или остается у них как „бэбиситтер“, но считает неудобным афишироваться с женой товарища, который выслан из страны. Из скромных своих учительских заработков он сует Саре в руку 10 фунтов, когда ей надо купить подарок на свадьбу сестре мужа, а когда Сара рождает в „Ассуте“, выбирает имя новорожденному.

Большая семья у Сролика. Зато, когда надо купить ему новый костюм, собирается целый совет из женщин, и они сообща решают, какой цвет ему к лицу. Это — женщины движения, каждая из них в бетаровском мундире стояла под брачным балдахином, укрывала оружие, участвовала в партийной работе, рисковала свободой, имеет за собой нелегкую жизнь. Для них, как и для их мужей, романтический период молодости кончился с возникновением государства.

Сорок восьмой год — год победы и ликвидации подполья. Сролик не перешел порога, отделившего эпоху восстания от эпохи гражданского мира и прозаической легальности. Поэтому он и остался навеки овеванным в их воспоминаниях чистой поэзией и мечтательной грустью. — „У него не было времени на личную жизнь“ говорят они, и трудно понять, чего больше в этой фразе: сожаления ли над собственной молодостью при воспоминании о том кто остался вечно-молодым, — или полунасмешливого женского сожаления к тому, кто так и не дал себя соблазнить и до отчаяния довел доброжелательниц, желавших поженить его во что бы то ни стало.

Г л а в а в о с е м н а д ц а т а я

Р И М

В течение трех лет — 44, 45 и 46-го — деятельность Иргуна, расширяясь и обостряясь, создала в стране положение, когда британская власть оказалась перед альтернативой: либо успокоить мятежников добром, удовлетворив хотя бы в минимальной мере требования евреев, и этим восстановить против себя арабскую сторону, — либо подавить еврейское национальное движение с помощью решительных погромных мер в нацистском или сталинском стиле. Иначе подавить беспорядки в стране было невозможно. Так как англичане не могли решиться, — или не были способны ни на то, ни на другое, то они, в конце-концов выбрали третью дорогу и попросту отказались от мандата. Этот исторический поворот произошел в 1947 году и привел, после многих драматических перепетий, к провозглашению еврейской независимости и всему, что за ним последовало.

В течение ряда лет Иргун Цваи Леуми боролся с британским львом, как комар в басне, и довел его под конец 46 года до иступления и состояния яростного бессилия. В этой борьбе он не был один. На левом фланге действовала небольшая, но фанатическая кучка „лехистов“ последователей Штерна, а на правом находилась „Хагана“ — могущественная организация самообороны еврейского населения, с ее десятками тысяч членов. „Хагана“ принципиально не была агрессивна по отношению к англичанам (за исключением одного

короткого эксперимента летом 46 года, которому англичане быстро положили конец) — но зато не раз занимала агрессивную позицию по отношению к Иргуну. В последнем счете борьба, которую вел Иргун, была в интересе Хаганы. Она облегчила дорогу к общей победе, и многие члены Иргуна впоследствии заняли офицерские посты в израильской армии, носящей имя Хаганы.

Переломный момент в этом развитии наступил с концом войны в Европе. Тогда лишь выяснилась в полной мере катастрофа, постигшая еврейский народ, и к давлению Иргуна внутри страны присоединилось давление сотен тысяч беженцев в Европе, которым английское правительство со слепым упорством продолжало не давать права на въезд в страну.

Еврейско-английский скандал разрастался. Иргун приступил к расширению своей деятельности на Европу. Теперь террористические акты против отдельных лиц, вроде убийства лорда Мойна в Каире, 6 ноября 1944 года, были уже недостаточны. Надо было технически и морально сделать невозможным для врага держаться как в самой стране, так и перед лицом мирового общественного мнения. Надо было атаковать институты, центральные учреждения, пути сообщения, создать угрозу для Империи в каждом месте, где она находилась. В самой Палестине взрывались здания, полотно железной дороги, аэродромы, нефтепровод, атаковались укрепленные позиции англичан... а одновременно Иргун приступил к организации ячеек в Европе и подготовке выступлений за пределами страны. Это была своего рода психологическая атака, целью которой было довести напряжение конфликта с Англией до крайнего предела.

Осенью 46 года Сролик собрался в дорогу на Запад. Его послали с ответственной миссией. Он должен был объехать страны Европы, проверить и реоргани-

зовать работу Иргуна и там, где были внутренние споры — быть арбитром и решающей инстанцией. На юге Италии находились в то время беженские лагеря, где люди ждали своей очереди отправки на родину. Они, очевидно, не были заинтересованы в террористических актах Иргуна, которые могли привлечь к ним внимание властей и задержать или затруднить их нелегальный отъезд. Позиция Иргуна в этом случае была ясной: никакие соображения не могли помешать военным действиям Иргуна, которые, в конечном счете, одни только были в состоянии заставить англичан пересмотреть свою политику.

Сролик выехал с тяжелым сердцем. Он понимал, что его задача не будет легкой. Это было первое большое задание, порученное ему, и первое его большое путешествие на Запад, в страны, о которых он знал только из книг. На континенте ждала его встреча с матерью и братом, пережившими войну в Сов. Союзе, и мысль об этом свидании заставляла биться его сердце.

Он выехал в половине октября, устроив все дела, вернув все одолженные книги, и не забыл перед отъездом поручить товарищу послать цветы от его имени любимой девушке. — „Береги мне ее...“ в этих словах нотка заботливости, так характерная для всего душевного склада Сролика: „шмор ли алеа“ — как он сам все годы берег оставленные семейные очаги своих товарищей

Пароход вышел в открытое море, и его охватило то чувство тоски, которое неизбежно испытывает каждый, отрываясь после долгих лет от родной земли. Берега, где все знакомо и близко, исчезают в дали, теряются как сон, а впереди мир чужой и враждебный, в лучшем случае равнодушный ко всему, чем ты жив. И еще холоднее от сознания, что он едет на огромное кладбище руин и разрушения, навстречу еврейской

беде, навстречу пожарищу, где сгорела лучшая часть его народа. Он едет не как турист, или случайный посетитель, или журналист собирающий впечатления. Он несет большое бремя: от него ждут дела, он представляет высшее командование Иргуна Цвай Леуми.

В Риме Сролик поселился в альберго Ницца — скромном отеле на улице Массимо Азельо в окрестностях главного вокзала. Он немедленно связался с людьми Иргуна.

В эти дни готовилось покушение на здание британского посольства. Организация в Италии была слаба: несколько групп в больших городах. Итальянское еврейство, малочисленное и разбитое войной, почти не оказывало ей поддержки. Бетаровская молодежь складывалась из беженцев, пришлых элементов. В предместьи Рима Гротта-Феррата группа бетаровской молодежи насчитывала около ста человек. Подготавливая взрыв, заговорщики знали, что он обратит внимание мировой прессы на Рим, и как следствие, им придется выдержать концентрированную атаку не только итальянских, но и английских сыщиков из Палестины.

Сролик не имел прямого отношения к организации взрыва, который произошел 31 октября. Он не участвовал в его подготовке и не был посвящен в подробности. Но он знал о плане, и это одно уже делало его соучастником. Будь он осторожен, он бы оставил город в эти дни, где его присутствие не было абсолютно необходимо... Он находился в ожидании визы во Францию, и готов был продолжать дорогу каждый день. Но в ожидании визы, которая должна была прийти из Парижа, он продолжал оставаться в Риме.

Почему он это сделал? — Потому ли, что в Тель-Авиве он привык оставаться в самом близком соседстве опасности, в непосредственной близости всех предприятий Иргуна? Или потому, что его положение делегата

обязывало именно в эти дни быть в Риме? А может быть потому, что Рим, вечный город с его неисчерпаемыми сокровищами красоты и истории, ошеломил его и приковал к себе, как пятьдесят лет раньше другого молодого человека из Одессы?..

Для людей, воспитанных в еврейском национальном движении, Рим связан с молодостью Жаботинского, который в этом городе был студентом на пороге века и посвятил ему несколько милых и веселых рассказов „без политики“. Сролик их знал, как он знал каждое слово, написанное его учителем. Но и помимо того Рим не мог не произвести глубокого впечатления на молодого еврейского националиста.

Он проводил свои дни на его улицах где все было ново, все захватывало его. Тесная бедная комната в альберго Ницца, с прохладным каменным полом, где за окном в пять часов утра начинают грохотать трамваи — или бар в гостинице, где до поздней ночи толпились военные в мундирах союзных армий, не могли задержать его надолго. До поздней ночи он бродил по улицам, где кипела жизнь, чужая, неизвестная, — вглядывался в страшные как маски лица проституток с ярко-накрашенными губами, которыми кишела окрестность Стационе Термини, в толпу за столиками ресторанов под аркадами. **Иль Пополо, Темпо, Аванти!** — и над всеми газетными рекламами господствовала коммунистическая **Унита**. — Прекрасны римские фонтаны на площадях, заставленных автомобилями. Кажется, машины стеклись к фонтанам как животные на водопой. От площади к площади бродил Сролик, от Пиацца Барберини до Пиацца д'Эспанья, мимо дома, где жили Китс и Шелли, и доходил до Кампидолио. Всюду дразнило его смешение контрастов, величия и монументальности, рассчитанных на тысячелетия, с жалкой и нищей жизнью, и он не знал, что ближе ему, потемку тех кто бросил вызов славе

древнего Рима и не смирился пред ренессансным великолепием католичества: мрамор и позолота дворцов или плесень переулков римского гетто. Он был — революционер. Во дворцах жили владыки мира сего, в гетто — его жертвы. Он был подавлен сказочным блеском зал Ватикана, но скоро золотом и красками сверкающая роспись стен утомила его и вызвала глухую враждебность. Сколько столетий и сколько народов всего мира сносило сюда лучшие плоды человеческого духа, как покорную дань, и это все, — чтобы накинуть нарядный покров на страшную правду, отгородиться от тления и праха, между собой и могилой поставить как стену всю эту роскошь, в которой, под конец, не было уже ничего реального: она как сон уводила в другой мир, в котором ему, Сролику, не было места. В Сикстинской капелле он был тронут и испытал гордость при виде библейской мощи Микель-Анджело: да, то, что нами создано, неустранимо, присутствует всюду. Но больше всего тронул его Моисей в притворе старой базилики Сан-Пьетро — „ин винкули“. Не даром поставили эту статую в стороне, спрятали, не дали ей места в самом храме. Черты лица Моисея с грустными бровями и пламенным взглядом были дивно знакомы и близки сердцу. Так выглядели деды и прадеды Сролика в Вильне, а этот удивляющий туристов рог на лбу — чем он был, как не „тефиллин-шел-рош“, символ еврейскости!.. Сролик был потрясен, но выходя он спросил себя: как же случилось, что „гой“ — и только гой! — был в состоянии изваять эту статую? И не было ли зачатка греха уже в том, чтобы стоять перед ней любуясь, вместо того, чтобы носить самому рог избрания на лбу, как это делал самый последний верующий еврей?..

Стоя спиной к заходящему солнцу, он видел с Яникульского холма под конной статуей Гарибальди великолепное зрелище города. От края до края горизонта раскинулся Рим симфонией красно-желтых и

серых тонов, перемешанных с темной зеленью. Огромное небо ровно лежало под панорамой бесчисленных соборов и дворцов, над античными развалинами и мраморными стадионами недавней эры, — и столько воспоминаний нахлынуло на молодого учителя, что он не знал, что с ним делается: смешались тоска по дому и невольное преклонение пред красотой, окружавшей его.

В эти минуты переламывался в нем его национализм — естественное следствие условий его жизни, стесненной и принужденной к обороне, — и он чувствовал, как рождается что-то новое в его душе: как будто река, по которой плыл утлый челнок его жизни, с детства до этого дня, от Конотопа на Украине до Рима, столькими извилинами, вновь свернула за выступ, и новый горизонт открылся пред ним, новый пейзаж. По новому он осознал свое „еврейство“, и от ревливой заботы, которая велит ненавидеть и отвергать, обращался к тому чувству, которое все — любовь и понимание, и учит жизнь своего народа видеть, как часть универсальной жизни, и тем богаче, чем богаче окружающий мир. Иерусалим и Рим были братья. Он не боялся Рима и не желал ему зла. Он чувствовал, что есть у него законный удел в этом вечном городе, — он здесь не чужой. И Арка Тита — знак римского триумфа — казалась ему свидетельством вечного присутствия его народа в мире и символом непобедимости духа.

Тем временем события разворачивались. В последний день октября наступил взрыв в британском посольстве, который поставил на ноги полицию двух государств и привел в движение Си-Ай-Ди в Иерусалиме.

Некоторые видят несчастное стечение обстоятельств в том, что Сролик прибыл в Рим пред самым взрывом и таким образом оказался вовлеченным в дело, которое стоило ему жизни. Но Сролик не был слу-

чайным прохожим. Можно видеть случай также и в том, что пуля ранила Дов Грунера, а не пролетела мимо, или в том, что бомба с самолета угодила в автомобиль, которым ехал Давид Разиэль. В жизни человека случай и необходимость неразделимы. За каждым случаем стоит неизбежность, и за каждой неизбежностью — свободная воля человека. И так оказался Сролик в Риме во исполнение трагической еврейской судьбы и потому, что так диктовал ему долг, который человек берет на себя свободно и сам избирает себе дорогу — до последнего смертного часа.

Глава девятнадцатая

АРЕСТ

Сролик был арестован десять дней после взрыва в британском посольстве.

Об обстоятельствах, предшествовавших аресту, и о несчастной попытке бегства нам известно из двух источников: из рассказа товарища, сидевшего с ним вместе в камере „квестуры“ на улице Сан-Витале, и из отчета коменданта Иргуна в Италии, подписанного именем Дан. Отчет, на 15 страничках машинного письма, носит подзаголовок „Пирке-Зихронот“ („Воспоминания“) и передает в сжатой форме важнейшие факты.

Взрыв под стеной британского посольства продемонстрировал присутствие террористов в Риме и вызвал мировое эхо. Но он вызвал также и энергичную контр-акцию, которая в несколько дней парализовала слабые силы Иргуна в Италии. Об этом говорит Дан:

„За взрывом последовали преследования. По всей стране кишели агенты Интеллидженс (британской разведки). К их услугам была итальянская полиция и еврейские коллаборанты... Молодая подпольная организация не была подготовлена к такой лобовой атаке. Возможно, что мы не рассчитали ни влияния британцев на месте, ни эффективности действий итальянской службы безопасности. Возможно также, что не было времени отложить операцию и подготовить ее более основательно. Необходимо было провести ее к определенному сроку в соответствии с планом операций в стране“ (Израиле).

Как бы то ни было, оказалось, что легче скрываться от политической полиции в Израиле, в гуще сочувствующего еврейского населения, чем в Риме среди чужих... Иргунисты в Италии были немногочисленны, лишены опыта и плохо законспирированы. Уже один тот факт, что Сролик с товарищами не нашли другого места остановиться в Риме, как в центре города в гостинице, где они были так заметны для окружающих, как черное пятно на белой скатерти, свидетельствовал, что у них не было умения (а может быть и достаточных материальных средств), чтобы укрыться как следует.

Но они и не собирались укрываться. Наоборот: политикой Иргуна было после каждой удавшейся „операции“ сообщать о ней в прокламациях и сводках, как о победе на фронте, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, кем, что и зачем было совершено. Важно было воздействовать на общественное мнение, демонстрируя волю еврейского народа к сопротивлению. Также и в этом случае было решено выслать письмо от имени Иргуна главе итальянского правительства де-Гаспери, и в нем объяснить мотивы покушения, выразить сожаление и объяснить, что не было намерения повредить интересам Италии или ее добрым отношениям с Англией... Немедленно сел Сролик к пишущей машине и написал письмо де-Гаспери. Письмо тут же перевели и отослали по адресу. Этого было мало. В декабре состоялась большая „пеула“ (выступление) по всей Италии: в один день и час в больших городах, Риме, Милане, Неаполе, Бари, Падуе, Флоренции, Венеции, Турине, были разбросаны от имени Иргуна прокламации с пожеланием Нового Года итальянскому народу „в котором мы видим союзника и друга“.

Можно было и не поздравлять итальянский народ — или сообщить об авторстве взрыва в британском посольстве не в самом Риме, а в Тель-Авиве. Но тогда

не было бы такого эффекта на итальянской улице, впечатление было бы меньше. Эхо взрыва должно было быть как можно более оглушительным, — и вызванное им возбуждение не должно было улететь так скоро.

В результате англичане встревожились не на шутку. Воображение лондонцев уже видело заговорщиков в столице Империи, бомбы в Палате Общин, на Пикадилли. В Рим прибыли эмиссары полиции из Палестины, итальянская полиция была мобилизована, — и им не трудно было найти Сролика с товарищами в альберго Ницца.

Хуже было то, что при этой okazji была найдена пишущая машинка, та самая, на которой было написано письмо президенту совета министров де-Гаспери. Эта пишущая машинка служила позже единственным доводом против Сролика, вместе с фактом его установленной связи с деятелями бетаровского союза молодежи.

В один из дней после отправки знаменитого письма де-Гаспери, постучали утром в дверь номера Сролика, и в комнату вошел человек лет сорока, широкоплечий, с красным здоровым лицом и неприятным упорным взглядом из-под белесых бровей. Он был уверен в себе, похож на переодетого офицера и сразу не понравился Сролику.

— Вы говорите по-английски?

— Очень мало...

— Чтож, будем говорить на иврите.

И неизвестный перешел на иврит с английским акцентом.

— Я прислан из Си-Ай-Ди в Иерусалиме. Вы — Израиль Эпштейн. После взрыва в посольстве мы сразу подозревали, чья это работа, теперь, после письма к де-Гаспери, сомнений нет. Будем играть в открытую. Мы знаем, что вы в курсе всего дела. Угодно вам помочь нам?

Сролик похолодел, но не выдал своего волнения.

— Помочь? Чем я могу помочь?

Собеседник развеселился.

— Вот такой именно человек нам нужен: с невинным лицом и полным самообладанием. — Что вы делаете в Италии?

— Проездом во Францию: разыскиваю моих родных в беженских лагерях.

— Вы учитель? Ездить по Европе стоит много денег. А машинка вам зачем?

— Для личного употребления... Я много пишу... пишу дорожный дневник...

Агент, не спрашивая позволения, сел к машинке, вставил лист бумаги и написал несколько строк. Спрятал лист в карман. Сролик вспыхнул.

— Что вы делаете?

— О, ничего! Отличная машинка у вас... не угодно ли следовать за мной?

Сролик пожал плечами:

— Арестовать меня вы не имеете права.

Агент рассмеялся. — Ну, зачем эти Формальности? Вы знаете, что нам достаточно распорядиться, и вы немедленно будете арестованы. Вы в наших руках. Давайте говорить по хорошему. Папироску?

Сролик отказался от папиросы. У него началось нервное дрожание пальцев, он спрятал их под стол.

И вдруг агент переменял тон, стал говорить грубо, угрожающе.

— Жаль мне тебя, парень. Пропадешь, если не обсудишься. Мы все о тебе знаем. Слышишь — все. Знаем, что нападение на посольство было организовано в этой комнате, ты к этому руку приложил. Еще сегодня будешь под замком. Из наших рук ты не вырвешься. Подумай хорошенько, пока не поздно. Не лучше ли сговориться?

Сролик вдруг успокоился. Ситуация выяснялась — Ты человек честный, патриот и все прочее. Мы это понимаем. Мы тебе ничего бесчестного не предлагаем. Поезжай в лагерь, где собраны беженцы, отговори этих несчастных от авантюры, от этой игры в нелегалщину, от этих поездок на судах, как скот. В конце-концов, куда они попадают? — на Кипр, в другие лагеря. Ты хорошо послужишь своему народу... Британия вам друг, а не враг. Помогите нам, а мы поможем тебе выйти из тупика, в который ты забрел...

Сролик подошел к двери в корридор, открыл ее и сказал почти любезно:

— Убирайся к чорту. И немедленно.

Наступила пауза. Агент посмотрел в лицо Сролику, развел руками и поднялся.

— Как хочешь. Я подожду до 3 часов. Вот мой номер телефона. А потом — пеняй на себя.

Несколько минут после ухода гостя Сролик собирался с мыслями. Сколько лет ему удавалось укрываться от полиции, но рано или поздно этот момент должен был наступить. Остается бежать. Бежать сию минуту. Выпустят ли его из отеля?

Он вышел в корридор и спустился в холль. У выхода сидели люди в кожаных креслах. Один из них, с сигарой во рту, покосился на него из-за газеты.

Сролик вышел на улицу, повернул направо. Надо дать знать товарищам. Дан или Ханан. Но можно ли рискнуть теперь поехать к ним?

Он вышел на площадь перед вокзалом, стал в очередь к автобусу. Оглянулся. Человек с сигарой во рту, человек из холля, стоял за ним, углубившись в чтение газеты. Нет, поехать по известному адресу невозможно. Сролик вошел в автобус, протолкался вперед к выходу и — потерял из виду своего преследователя.

Он не видел его в автобусе. На всякий случай он сошел у здания городской библиотеки и поднялся в читальный зал. Посидел полчаса... Вышел в другую дверь. Замешался в толпу. Прошел до конца улицы и стал в очередь у остановки автобуса. Оглянулся: человек с сигарой во рту стоял за его плечами и, как ему показалось, слегка подмигнул ему.

Сролик решил вернуться в отель. Он вышел без пальто, теперь он почувствовал холод. По крайней мере, надо взять пальто, а там видно будет. **Тов лисбол ле-маан Цион** — хорошо пострадать ради Сиона.

Первое лицо, которое он увидел в холле альберго Ницца, был Ханан, — тот, с кем он хотел увидеться в городе. Они поднялись в комнату к Сролику, но не успел Сролик рассказать, что случилось, как в дверь постучались.

стованы“.

На пороге стояли двое полицейских. „Вы арестованы Освобождения, многочисленные организации,

Прошло несколько дней, пока друзьям удалось установить его место заключения. Он содержался в центральном управлении полиции на улице Сан-Витале. После первого допроса его перевели в центральную римскую тюрьму, но 17 декабря неожиданно вернули его на ул. Сан-Витале.

Это не была тюрьма. Итальянцы относились с оттенком симпатии к еврейским террористам, сводившим свои счета с Великобританией. Кроме того, они различали между итальянско-подданными и чужестранцами. Сролик был иностранец, его делом заинтересовалась американская пресса, представитель американского Коадвокаты... Начальник полиции Боттино похлопал Сролика по плечу и сказал ему в тоне извинения: „Вы сами понимаете... мы страна побежденная.: должны считаться с англичанами...“ и предложил ему, пока

разберут дело, работать в канцелярии, делать переводы... „вы не должны возвращаться в камеру ночью — можете оставаться спать в бюро“.

Дважды в день доставлял Сролику еду из города молодой паренек, который был членом Иргуна, и через него Сролик имел постоянную связь с товарищами. Итальянцы не старались его изолировать от внешнего мира, не видели в нем врага. Вообще, все это дело не имело для них большого значения. Англичане, со своей стороны, не были нисколько заинтересованы в открытом судебном разбирательстве, которое Иргун мог бы превратить в демонстрацию и использовать для целей пропаганды. Они требовали выдачи Сролика и высылки его обратно в Палестину. В этом случае, без всякого суда, была ему обеспечена ссылка в Эритрею и долгие годы интернирования в лагере. Этого Сролик хотел избежать за всякую цену.

И так родился план бегства из здания на Виа ди Сан-Витале.

Г л а в а д в а д ц а т а я

С А Л Ь Т О В И Т А Л Е

План был разработан во всех подробностях. Через человека, приносящего еду, Сролик должен был получить шнур длиной в семь метров, перчатки, чтобы не ободрать руки спускаясь, конфеты с примесью снотворного, чтобы усыпить сторожей, и — на крайний случай — бутылочку с хлороформом завернутую в платок. Шнур надо было прикрепить к крану радиатора центрального отопления под окном канцелярии, где спал Сролик. Окно — обыкновенное окно без решеток на третьем этаже — выходило на улицу Сан-Витале.

Массивное и мрачное здание центральной римской полиции занимает угол двух улиц — или скорее двух переулков — виа Дженова и виа ди Сан-Витале. Главный вход — за углом виа Дженова. Вся улица Сан-Витале насчитывает не более четырех домов, один — со двориком и уютной пальмой. Впечатление провинциальной тишины и глуши еще усиливает столб с плакатом, находящийся против входа в „квестуру“ на противоположном тротуаре: это объявление о том, что фирма такая-то предлагает чинам полиции на выгодных условиях в рассрочку все части гардероба:

САРТОРИА — КОНФЕЦИОНИ — ТЕССУТИ
КАПЕЛЛИ

и ниже изображен безукоризненный джентльмен, опирающийся на палку, с пальто изящно переброшенным

через руку. Сролик не сидел в какой-то крепости за городом. Чтобы бежать, не надо было подкопов в стиле Монте-Кристо. Он находился в самом центре Рима. Меньше, чем в одной минуте от здания полиции пролегает виа Национале — одна из главных, оживленных и полных магазинов артерий города. В комнату, где сидел Сролик, до поздней ночи доносился шум движения на улице Национале. Но в самом переулке, когда кончались часы работы в правлении полиции, было пусто и тихо. Единственный караульный стоял у главного входа на виа Дженова. Вход со стороны Сан-Витале запирался с наступлением вечера, и никто там не дежурил. Условия для бегства были идеальныс.

Приготовили автомобиль, который должен был ждать Сролика на углу. В помещении канцелярии на „алии-бет“ еще до войны. Он, однако, отказался от ночь оставались двое арестованных и двое сторожей-полицейских. Товарищ Сролика был Моше Галили, один из самых активных и заслуженных организаторов участия в бегстве, рассчитывая на скорое освобождение. План был рассчитан так, чтобы не применять оружия и не причинить вреда никому из охраны. Это условие поставил Сролик. Был и другой план: ворваться в здание и силой освободить его, но в этом случае могли быть жертвы со стороны охраны, и Сролик забраковал этот план. Бегство должно было состояться в самый сочельник, т. е. в вечер с 24 на 25-ое декабря, когда весь город празднует, все навеселе, и надзор ослаблен. В этот вечер Сролик должен был пригласить своих двух охранников на ужин, угостить, напоить их и подсунуть конфеты с усыпляющим веществом. Остальное было просто. Спустившись по шнуру на тротуар, он попадал в объятия поджидавших друзей, часть прикрывала отступление, а с другими в автомобиле он мчался на главный вокзал. Там ждала его говорящая по-итальянски дама и билеты на поезд в другой конец

Италии, в Венецию-Джулию. где было приготовлено ему убежище у верных людей.

Сролик постановил бежать. Мысль о том, чтобы попасть в руки англичан, наполняла его ужасом. С каждым днем он становился нервнее и нетерпеливее. В день, назначенный для бегства, не удалось во время передать принадлежности „операции“ — шнур, конфеты и остальное. Пришлось все отложить на следующий вечер. Установили время — 10 часов вечера. Поезд в Венецию уходил в 11. В полночь сменялась охрана в комнате арестованных. Квартира заговорщиков была в двух шагах от здания Квестуры — в ресторане „Ростичериа Виеннэза“, на виа Национале.

В 9 часов Сролик услышал условленный свист. Насвистывали знакомую песенку — это был сигнал: „мы готовы“. В ответ он показался в окне — это означало: „я готов“.

Оставалось ждать.

В каком напряжении провели эти последние часы люди в „Ростичериа Виеннэза“, видно из слов, которые мы находим в воспоминаниях командира Иргуна в Италии, Дана:

Все наши упования и судьба организации в Италии и всей Европе были связаны с этим предприятием. Более недели вся наша энергия была отдана ему... Теперь, прогуливаясь в последние минуты по улицам, прилегающим к зданию полиции, я вспоминал те дни, когда впервые встретился со Сроликом... думал о том, что Израиль — единственный человек, способный изменить положение (создавшееся в Европе между партийными инстанциями и Иргуном Цваи Леуми)... вспоминал, как он готовился к встрече со старой матерью и братом, пережившими войну и ждавшими его в одном из беженских лагерей в Европе... как он проектировал пер-

вую встречу с матерью, чтобы не поразить ее неожиданностью и не причинить ей слишком большого потрясения...

Прошел час и полтора в крайнем напряжении — и ничего не произошло.

Люди не знали, что думать. Мертвая тишина в переулке Сан-Витале. За все это время не показалось там ни одного прохожего. Здание погружено в темноту, окно третьего этажа над входом — как все другие окна. Стрелка часов приближается к полуночи. В это время командир группы, ожидавший Сролика, начал распускать своих людей. Было очевидно, что „операция“ сорвалась.

За стенами спящего здания в эти часы происходило следующее.

Все нужное для бегства и точные указания как поступить были переданы через связного еще после обеда. Вечером полицейские не спешили ложиться спать. Израиль, как накануне и при многих okazиях раньше, угостил их, чему они были очень рады. Они пили и ели с удовольствием. Это были бедные люди, дома таких вкусных вещей не было. Они были искренно благодарны своему арестанту за выпивку и угощение. Прежде чем лечь, они опустили жалюзи на окне.

Это было непредвидено. Обыкновенно они этого не делали. Израиль, не долго думая, подошел и поднял жалюзи.

— „Зачем подымаешь?“ спросил полицейский. Возможно, что в эту минуту тень подозрения родилась в нем.

— „Душно в комнате, хочу свежим воздухом подышать“ ответил Израиль и небрежно опустил до половины жалюзи. Вынул конфеты и предложил охранникам.

От хороших вещей не отказываются. — „Это я возьму домой, для моего бамбино“ сказал полицейский. — „Нет-нет“ засмеялся Сролик „для бамбино — вот тебе отдельно.. видишь, это все можешь взять домой, а эту конфету съешь непременно сам: это для тебя.“

Снотворное должно было подействовать в течение получаса. Но уже становилось поздно, и Сролик не мог дожидаться полчаса. Здесь начинается то, чего не было в программе, и что не было предусмотрено указаниями Дана.

Двое арестантов стелят себе на полу и ложатся. Полицейский тушит свет и опускает жалюзи до конца. Один из них ложится на стол, другой остается дремать сидя на стуле. Скоро со стола доносится звучное храпение. Сролик подымается. Напрасно Галили удерживает его: „еще не прошло полчаса“. Сролик больше не хочет ждать. В темноте он одевается, подходит к радиатору, завязывает конец шнура и подымает жалюзи на окне. — „Спокойнее, спокойнее..“, но деревянная створчатая штора не идет, застряла в полпути. Бешенство охватывает Сролика. Он рвет с силой. Это как дурной сон — такие сны ему уже случалось видеть, когда вдруг начинаешь тонуть, или земля уходит из-под ног... Жалюзи не поддаются... и вдруг раздается ужасный громовой лязг, раздирающий уши. Полицейский на столе перестает храпеть. Сролик замирает. Проходит минута — человек на столе поворачивается на другой бок и спит дальше.

Надо подождать... еще немного подождать, но проходят драгоценные минуты, и кто может гарантировать, что в ближайшее мгновение не случится еще что-нибудь непоправимое?

В этот момент, по свидетельству Галили, стоя со шнуром в руках у открытого окна, Сролик сделал нечто непонятное. Он не выбросил шнур наружу, чтобы

потом спуститься по нему держась руками и ногами, как это было бы нормально. Он вскочил на подоконник, схватил шнур в обе руки и выбросился с ним в окно.

Сролик прыгнул в окно, как прыгают парашютисты с самолета. И хотя мы не были при этом, мы можем представить себе, что он закрыл глаза и заставил себя прыгнуть. Он не был гимнастом и вряд ли когда-нибудь раньше спускался по канату из окна. Это был отчаянный прыжок — прыжок в жизнь, сальто-витале Сролика. И вероятнее всего — то, что заставило его так поступить, было понимание, пришедшее неожиданно и мгновенно, что человек на столе не спит, — что он слышит все, и нельзя терять ни секунды.

Трезвея в одно мгновение, полицейский сорвался со стола и бросился к окну. Он увидел темную тень в окне в то самое мгновение, когда она отделилась от парашюта. Не думая, автоматическим движением, он выхватил револьвер и выстрелил.

Пуля догнала Сролика. Он выпустил канат и рухнул на землю. Галили услышал стон, и что было в этом стоне? — Крик страдания? Или последний, предсмертный крик торжества: Сролик бежал из тюрьмы, он был по ту сторону.

Уже сбегались люди со всех сторон, Джины с полицией вырвались из главных ворот. Переулок наполнился взволнованной толпой, зажглись огни в окнах всех домов, а в кольце обступивших людей лежал человек со сломанным позвоночником, переломанными ребрами, пулей в животе и внутренним кровоизлиянием.

Что здесь случилось? Почему? Шеф полиции поднял руки к небу — почему? — „Ведь ему ничего не угрожало страшного, мы бы его выпустили через несколько дней! Зачем был нужен этот прыжок?“

И Дан, организатор этой попытки бегства, спрашивает себя „почему?“ — и отвечает с горечью:

— „Возможно, что были более способные люди, чем мы, в распоряжении Еврейского Агентства, „Мапая“, „Мапама“, „Хаганы“ и других организаций; они бы лучше все подготовили, провели, привели в исполнение... что же делать, что они не были революционерами“.

Эти бы не попали в руки римской полиции, а если бы попали, не прыгали бы в окно третьего этажа. Что здесь случилось?

Сролик прожил несколько часов после своего падения, не теряя сознания.

Профессору Смертенко, члену американского Комитета Национального Освобождения, успевшему навестить его в правительственной больнице, он сказал:

„Эйн давар, профессор, ничего... я умираю... передайте нашим парням, чтоб не падали духом... и чтоб продолжали войну... передайте им привет от меня...“

Это были последние слова Сролика.

На этом кончается наш отчет о жизни Сролика. Но вопрос — „что случилось?“ продолжает стоять перед нами.

Чудовищная гримаса судьбы, которая сальто-вигале Сролика, его прыжок на свободу, прервала пульей невинного убийцы — продолжает нас поражать по сей день. Сролик, образец благоразумия. Сролик, во всем осторожный и рассудительнейший из всех. Он, который когда-то пожал плечами, услышав о товарище, о том, кто прыгнул без нужды с верхнего этажа, спасаясь от британской полиции, и сломал себе ногу — „со мной бы этого не случилось“ — какое превращение он пережил в одну-единственную минуту?

Он действовал повинуясь импульсу. Что побудило его поступить так отчаянно, так странно, так против

своей натуры? В ту сотую часть секунды, когда вся прошлая жизнь встает пред умственным взором человека, летящего в пропасть, — что встало перед ним? — Была ли это память его товарищей, которые летом того же года бежали из лагеря в Эритрее? И он, как они, вырвался на свободу и этим исполнил завет всех непокорных, всех, восставших против злой еврейской судьбы: „ты не будешь жить как раб“. Или он вспомнил миллионы погибших братьев и миллионы других, кто остался при жизни подневольной и полной сдавленного горя и звал его — „иди к нам — на жизнь или смерть — но будь с нами!“ — От нищей литовской провинции, через Вильну, Варшаву, Тель-Авив — чем была вся его жизнь как не одной попыткой бегства от кошмара, окутавшего еврейскую жизнь? — И откуда-то из глубины забвения встал образ виленского доктора, к которому он когда-то ходил за советом, и насмешливый голос проговорил:

— Ты разумный и моральный человек, Сролик! Но берегись! Берегись, чтобы жизнь не отплатила тебе за твой рационализм какой-нибудь нелепостью, чтоб она не сыграла с тобой какую-нибудь жестокую шутку...

Жизнь сыграла жестокую шутку со Сроликом? — Но сам он разве не играл с судьбой, не бросил свою жизнь на карту в одно мгновение? Если бы пуля его минула, — если бы побег удался, — каким бы он прослыл героем и смельчаком! И он дожил бы до наших дней в глории побега и неустрашимости, как столько его товарищей, вернувшихся в серое обыденное существование, — несмотря на то, что ореол доблести и удачества меньше всего подходил к нему. Но Сролик всегда делал то, что считал своим долгом. Он не играл своей жизнью и не позировал перед зеркалом истории. Но он и не берег свою жизнь и не задумался сделать то, чего требовало от него положение. И в зеркале истории на секунду отразилась его тень — „Гундар Авиэль“

— чтоб войти в пантеон других теней, мимо которых идет жизнь, редко оглядываясь и быстро забывая.

Физическая жизнь человека начинается актом зачатия и кончается актом смерти.

Отец и мать зачинают его жизнь, но умирает человек всегда сам, как потухает пламя. И благо тому, кто в час смерти не чувствует себя одиноким.

Духовная жизнь человека проходит между двумя сакральными актами: между обрядом посвящения (обрезания или крещения) и обрядом погребения. Вводят его в общину верующих, прежде чем он в состоянии осознать себя, и освящают его смерть в обряде, который заканчивает жизнь, как точка предложение.

Полиция поторопилась поставить точку в конце жизни Сролика. В полночь следующего дня она перевезла его тело на еврейское кладбище, заставила могильщика вырыть могилу и предала его тело земле — без миньяна, без заупокойной молитвы, без обряда. Это было сделано, чтобы избежать „демонстрации“.

Но полиция слишком поторопилась. Не в ее власти было поставить точку в конце предложения. На седьмой день собрались на могиле Сролика товарищи из Гротта-Феррата и много евреев на поминки, в присутствии главного раввина города Рима и главарей римской общины. Принесли много цветов, сказали много речей. И позже воздвигли на могиле памятник с надписью:

**ПАМЯТИ ОФИЦЕРА ИЗРАИЛЯ ЭПШТЕЙНА
ПАВШЕГО ЖЕРТВОЙ БРИТАНСКОГО ТЕРРОРА
В СТРАНЕ ИЗРАИЛЯ**

Во второй раз был похоронен Сролик, когда 9 января 1949 года был открыт в Милане великолепный

памятник в честь доблести и жертв понесенных итальянским еврейством. Двенадцать гробов мучеников и героев было положено в основание памятника: гроб партизана-еврея, павшего в борьбе с наци; гроб заложника расстрелянного немцами; прах погибшего в Освенциме; гроб замученного в Гестапо: гроб солдата из Еврейской Бригады; и гроб солдата из итальянских частей, боровшихся по стороне союзников. С ними вместе легли и останки Сролика, перевезенные из Рима. Памятник имеет вид Меноры из мрамора, у основания его надпись **ЖЕРТВА** — над нею взвивается пламя факела, и надпись на плите, крайней слева, гласит:

ПАЛ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДА ИЗРАИЛЯ В СТРАНЕ ИЗРАИЛЯ

Надпись очень короткая, без упоминания, что Сролик был офицером Национальной Военной Организации, без упоминания британского террора. Но в ней было сказано самое главное. Все же это не было последним погребением Сролика.

В третий раз был похоронен Сролик, когда перевезли его прах из Милана в Мединат-Исраэль — 27 января 1953 года (в девятый день месяца Шват 5717 года) — шесть лет после смерти.

На этот раз были возданы все почести.

ЕВРЕЙСКАЯ ПОВЕСТЬ

Зал постепенно наполнялся. Люди занимали места за длинными столами вдоль стен. В прихожей вешалка была отягощена и перегружена, в соседней комнате грудой были навалены пальто. Помещение клуба было слишком мало, чтобы вместить в этот вечер всех членов и приглашенных гостей. Зажгли люстру, кенкеты, стулья сдвигались в се теснее, и двум разносителям чая приходилось лавировать все теснее, как кельнерам на тротуарах улицы Дизенгоф в субботний вечер.

Но здесь была другая публика. Не было молодежи. Немногочисленные дамы не блистали туалетами и красотой. Зато бросалось в глаза обилие умных и характерных лиц. Большинство состояло из солидных, немолодых, с лысинами и брюшками, мужчин, принадлежность которых к устроенной и преуспевающей интеллигенции не оставляла сомнений. Собрание одной из тель-авивских „лож“, где группируются представители вольных профессий и охотники послушать умную речь, было на сей раз посвящено теме о еврейской истории.

О еврейской истории — пятнадцать лет после смерти Сролика — должны были в этом почти семейном кругу говорить двое ораторов. Оба относились к еврейской истории в высшей степени критически, но во всем остальном различались между собой тотально — происхождением, родом образования, темпераментом, телосложением и тембром голоса. Разница воззрений только дополняла эти различия. Публика ждала диспута и готовилась к азартной дискуссии.

В самом дальнем углу залы сидели двое приглашенных гостей. Один из них был автор отчета о жизни Сролика, который все еще был похоронен в рукописи (фраза звучит двусмысленно, — но были похоронены оба — Сролик и рукопись). Другой был виленский доктор, — тот самый доктор, у которого когда-то юный Сролик искал совета и помощи. Он значительно постарел, поседел за эти три десятилетия, но не потерял склонности к философствованию.

— „Как же, доктор“ сказал автор рукописи „вы, помнится, были любителем кофе. Как вам живется в Сан-Пауло?“

— „Бразилия прекрасная страна“ мирно ответил доктор. „И я рад, что во время уехал из Европы. Но, знаете, не так просто уехать от самого себя. Воспоминания гонятся за тобой. У меня много друзей в Тель-Авиве. От времени до времени приезжаю. Чувствую себя здесь почти как в старой еврейской Вильне“.

— „Скажите, доктор“ спросил автор все еще не законченной рукописи „вы помните молодого Израиля Эпштейна, того, кому вы читали Балладу Рэдингской Тюремы и предостерегали его пред коварностями жизни?“

Но доктор не успел ответить, ибо в это время председатель собрания пригласил на подиум первого из ораторов. Начался диспут.

На скамье подсудимых была еврейская историография. Она, утверждал первый оратор, не исполнила своего долга и не поняла своего назначения — быть органом национального воспитания и путеводной звездой поколения. В Библии отразился героический период еврейской истории, но потом началось нечто странное. Евреи стали пренебрегать своей историей по мере того, как история стала пренебрегать ими. Сохранились религиозные предания, но преданы были почти полному забвению хроники действительных со-

бытий. Евреи потеряли интерес к своей истории настолько, что целые века утонули в провале времени. Этот процесс зашел так далеко, что можно говорить об амнезии, о болезненном дефекте народной памяти. Спасибо грекам, — если бы не они, не сохранились бы книги Маккавеев. Иосиф сын Мататии, известный под именем Иосифа Флавия, спас память об иудейской войне, но для этого надо было ему уйти на Запад и включиться в чужую культуру. Не сохранилось у народа Книги хроник восстаний и борений, последовавших за разрушением Храма. Первая история еврейского народа в изгнании была написана 250 лет тому назад французским протестантом. А когда в 19 веке, наконец, родилась еврейская историческая наука, весь ее подход был искажен предвзятыми представлениями, источник которых был в религиозном учении, — как если бы еврейский народ был исключением среди всех других, и в его истории отсутствовали нормальные импульсы борьбы за свободу и независимость, за родную землю. Теперь приходится нам заново открывать наше прошлое, откапывать его в земле Израиля по кусочкам, восстанавливать по намекам и указаниям в Талмуде, на которые веками никто не обращал внимания. Народ еврейский сам себя не знает, надо открыть ему глаза на правду тысячелетий. Разрушить надо не только миф антисемитский, миф ненависти, но и тот — псевдорелигиозный — комментарий к еврейской судьбе, который исказил историческую перспективу и затуманил ее до того, что евреи себе и окружающим стали представляться вне условий пространства и времени, как некий орден, народ-не-народ, непонятный соседям и всегда подающий повод к подозрениям и обвинениям. Пришло время произвести генеральную ревизию нашего прошлого. В ином свете предстанут тогда „лже-мессии“, осужденные традицией, как самозванцы, авантюристы и мистификаторы. В действительности каждый из них, от Моисея Критского в 5 веке до Саббатая Цви

в 17-ом, был народным трибуном и вождем, несшим весть национального освобождения. Иначе придется нам думать об Ахаве Израильском, осужденном аврами Библии, иначе о Героде Великом, в ином свете предстанут мечтатели Ренессанса, как Реубени и князь Наксосский, из тьмы забвения выступают предтечи сионизма 19 века, несправедливо преданные осмеянию современниками...

Оратор кончил, и речь его была покрыта аплодисментами. Место его занял оппонент, стоявший на прямо-противоположной точке зрения.

Ученый профессор из ортодоксального лагеря говорил с едким остроумием, часто свойственным людям, с исключительной силой сарказма и убийственной иронии защищающим положения, которые большинству кажутся очевидным абсурдом. — „Еврейская история“ сказал он, „не нуждается ни в защите, ни в ревизии. Поздно ее пересматривать, да и незачем: прошлого не поправишь. От того, что вы будете смотреть так, а не иначе, дело не изменится. Скажем прямо: еврейская история — неприятная, скверная история. Мало в ней красивого, и украшать в ней нечего. Наивно думать, что можно переиначить сущность еврейства, как она установилась тысячелетиями и отстоялась в коллективной памяти и традиции. Евреи не даром пренебрегали своей историей, если называть этим именем события и факты в их множестве, огромную кучу исторического мусора, в которой копаются археологи, ожидая каких-то откровений, точно эта гора мусора — новый Синай. Ахав имел четыре тысячи колесниц, — скажите, какая важность! Он был пигмеем в сравнении с великими державами того времени. Вы обвиняете еврейскую традицию в „амнезии“, в отсутствии интереса к прошлому? К сожалению, мы еще слишком много помним, а что забыли — по-праву забыто. Вам ли учить народную память, что хранить, что отвергнуть?

Она знает, что ценно и не-ценно, она сама устанавливает критерий ценности. Она — высший суд от которого нет апелляции. Вы заступаетесь за лже-мессий прошлого, видите в них истинных спасителей народной чести? — Вам следовало бы знать, что каждый „мессия“ был лже-мессией. Еврейскому сознанию в корне чуждо представление о спасении через человека. Весь ваш новоявленный национализм — попытка создать синтетическим путем, из какой-то реторты, новую нацию, на подобие Аргентины или Бразилии. Аргентина и Бразилия — отличные страны и заслуживают всяческого уважения, с их государственным аппаратом, патриотизмом и национальными интересами. Но еврейство не синтетический препарат и не лабораторный продукт: это нечто органически сложившееся, над чем уже поздно мудрствовать. Оно есть то, что оно есть. Современный Израиль так же относится к этому еврейству, как современная Греция к Элладу Гомера и Платона. Вы хотите нового начала? Чтож, попробуйте ваши силы, а прошлое оставьте в покое, не покушайтесь на нетленное и вечное, что выкристаллизовалось в нем. Уважайте его. А впрочем, кому нужно ваше уважение? Евреи всегда были презираемы — и поделом. Мир нас презирал не без оснований. Вы ищете морали и этических красот в еврейской религии? Знайте, что между иудаизмом и вашей „моралью“ нет ничего общего. Мораль — языческое изобретение, идите за моралью к грекам и их выученикам. А с нас довольно Т А Р ’ Я Г М И Ц В О Т — шестисот тринадцати заповедей веры. Ими огранено как алмаз, ограждено как крепость все, что составляет историческое явление еврейства...

Оратор кончил, и речь его была покрыта несколько смущенными аплодисментами. Среди присутствующих никто не придерживался 613 заповедей и даже не умел бы их перечислить.

Снова встал первый оратор.. — „Пойдемте“, сказал виленский доктор, „вы уже слышали все“.

„Диспута не будет. Каждый из них будет без конца повторять свое, не обращая внимания на аргументы противника. Уровень демократии определяют уважением к правам меньшинства. Уровень культурности следовало бы определять способностью понимания чужих убеждений или, по крайней мере, попыткой сочувственно проникнуться ими... не ждите этого здесь. Диспут не состоится, ибо каждому из этих критиков истории совершенно безразлично, что думает и чего хочет другой. Это спор двух глухих. Или, если хотите, — игра в шашки, где один поставил все фигуры на черные поля, другой — на белые. Сколько ни двигать фигуры, — они никогда не встретятся и не соприкоснутся“.

„Вот перед вами два человека на подиуме. Расстояние между ними — один метр. Они современники. Но в мире мысли и идеи их разделяет пропасть. В действительности они говорят о разных вещах. Одного интересует история евреев, другого — абстрактное еврейство. Одного захватывает вопрос, кем был в действительности Ахав, царь Израильский, другому это совершенно неинтересно. Почему-то он решил, поставил и поверил, что знает вневременную сущность еврейства. Заметьте, что с этой точки зрения не только число колесниц Ахава не важно, и не только исторические заслуги не имеют значения, но, скажем, и число миллионов убитых Гитлером. Живые люди, как колесницы Ахава, — только исторический мусор для того, кто предстоит Богу Израилеву, и все сионистское государство не более, чем левантинский эксперимент на американские деньги. Теолог и гуманист говорят на разных языках. Сколько нужно человек, чтобы обеспечить сохранение „органического еврейства“ в духе этого проповедника „изустной Торы“? — „Миниан“ — десять человек, — достаточны, чтобы создать общину

пред лицом Бога. Остальное цифры, статистика, исторический мусор. Вся геенна еврейской истории, включая последние — пока! — шесть миллионов, вытекла из этого нечеловеческого упора в потустороннее, из этого нежелания жить исторической правдой и интересоваться судьбой маленьких, ничтожных, во тьме блуждающих, но живых! живых людей. Вместо них всегда подставляли догму и схему“.

А этот другой, отважно требующий пересмотра всей концепции еврейской истории? Он ваш приятель, я знаю, вы ведь тоже из „гуманистов“. Но и для него еврейское прошлое — только экран, на который он проецирует настоящее. Ему, в сущности, не так уж важно, как оно было на самом деле. Он хочет воспитывать нас, вдохновлять еврейской историей молодое поколение, а для этого надо, разумеется, представить ее в ином освещении, в том электрическом блеске, которого, увы, она не имела в те темные и отчаянные времена. Старые мифы не вдохновительны, — создадим новые легенды и героические версии. Транспонируем наше настоящее в прошлое и вылепим из археологической глины образ „народа как все“.

Вы видите, один из них „революционер“, а другой „консерватор“. Я не даром помещаю эти слова в кавычки. Один принадлежит к поколению тех, кто хотел революционизировать еврейское настоящее, а когда жизнь оттолкнула их в сторону, заменили генеральную ревизию неподатливой еврейской действительности ревизией исторических преданий. Эта последняя задача много легче, но вы замечаете *petitio principii* нашего революционера? Да, если бы все современники наши приняли ту версию еврейской истории, которую он предлагает, если бы все согласились в ней видеть одно лишь неугасимое пламя восстания и борьбы за политическую свободу, — то они, тем самым, все оказались бы „ревизионистами“ и по отношению к насто-

ящему. Но дорога к национальной еврейской революции не ведет через исторические экскурсы, тем менее, когда ими занимаются одиночки за порогом школ и политического влияния. На этом пути нельзя овладеть сознанием масс и привести их в движение. Верно обратное: если бы им удалось реформировать аппарат власти и общественное сознание в Израиле нашего времени, они могли бы переписать наново учебники и воспитывать по своему молодежь в школах“.

„Наш консерватизм, на другом полюсе, скатился на глубокое дно самодовольной банальности. До еврейской истории им дела нет, они заключили союз с Вечностью и чувствуют себя в приятном обладании абсолютной истиной. Для людей, занимающихся кропотливым изучением прошлого, у них нет ничего, кроме слов презрения. К сожалению, нам нечего консервировать: наше прошлое подлежит не консервации, а радикальной перестройке. Наше прошлое — цепь катастроф и непрерывное крушение. Надо ли продолжать этот обвал по инерции? Где корни этого самодовольного разглагольствования? Верно ли, что „не Библия создала народ, а народ создал Библию“? Верно ли, например, что религиозное учение иудаизма не строится на морали, как нас поучал профессор? Это банальности. Никакая религия не строится на морали. Но там, где наш профессор ставит точку, там только и начинается проблема. Народ создал Библию, и с тех пор Библия не перестала влиять на народ — здесь было взаимодействие. История продолжается. И характерной чертой еврейского исторического самосознания было именно стремление сочетать Откровение и общечеловеческую мораль; в основе они различны, если не противоположны, а в жизни упрямо ищут друг друга. Еврейская история началась с откровения, — теперь она нуждается в моральном подъеме“.

Оба вышли на улицу и спустились к морю. Невидимое в этот поздний час, оно шумело ровно в ночном

просторе, бугорками белой пены рассыпаясь за каменной баллюстрадой.

— „Скажите, доктор, а помните вы Израиля Эпштейна?“

— „Помню хорошо. В мое время он был наивным юношей, энтузиастом. Один из тех, в ком был жив подлинный моральный подъем поколения. Душа человека, вообще, квартира из многих комнат, чужих дальше передней не пускают, гостей принимают в парадном салоне, дальше они и сами не пойдут, если хорошо воспитаны. Он не ходил ко мне в гости, и я не был гостем в его жизни. Мы сблизились на короткое время, но мои советы ему не понадобились. Я слышал, что вы пишете его жизнеописание“.

Автор рукописи замялся на мгновение.

— С этим жизнеописанием получилось не совсем гладко. Как, впрочем, со всей жизнью Сролика. Есть что-то общее между кабинетом врача и рабочей комнатой автора. Хотим знать больше, чем сам объект нашего любопытства и его семья могут рассказать о себе. Но люди пред нами так легко не раздеваются для осмотра. О многом приходится только гадать.

Разумеется, я не полагался на одно лишь свое воображение. Сролик не выдуман мною. Но и на рассказы знавших покойного Сролика тоже особенно рассчитывать не пришлось. Я опросил человек тридцать его друзей и товарищей. Некоторые вообще не хотели разговаривать. Другие не умели ничего сказать, приходилось клещами из них добывать слова и подробности. Мало ведь любить, надо глубоко понимать, а без этого понимания так же трудно описать человека, как музыкальное произведение профану. Одни принимали меня в „передней“, другие в „парадном салоне“, говоря вашими словами. Одни старались спрятать от меня ту интимную, внутреннюю правду жизни человека, которая единственно интересовала меня,

другие подсовывали олеографию, изображали Сролика в виде рыцаря „без страха и упрека“, в стальных латах. Я не знаю, каким был Сролик в глазах его невесты, она не пришла ко мне, и я не настаивал. Партийные товарищи Сролика, те, которые его похоронили, сказали меньше всего, — но у других я находил крупницы правды, хватающей за сердце, правды, так несомненной, как солнце в небе, и этими крупницами я должен был обойтись.

Сролик был для меня символом поколения именно в своей неприкрашенной правде. Если эта жизнь имела смысл, то это был трагический смысл, и прежде всего, надо было очистить его от ложной напыщенности и позы, снять с пьедестала, очеловечить его память. Сролик вышел из массы и остался бедным еврейским мальчиком до конца. Повесть жизни Сролика — еврейская повесть. Судьба Сролика — судьба еврейского мятежа, недоведенного до конца, споткнувшегося на полдороге. Что ждало бы Сролика, если бы он остался жив? Он ушел бы в анонимность, как столько его товарищей, а в лучшем случае — другие скажут в худшем — стал бы аппаратчиком одной из партий, потонувших в буднях израильской политической жизни.

Но Сролик умер, и образ его приобрел всю двусмысленность еврейской истории. Он не был „революционером“ по отношению к прошлому, он в самом деле хотел, не останавливаясь перед кровью, изменить, поправить еврейское настоящее, сейчас, пока не поздно. Он не был и религиозным фанатиком, из тех, кто хотел бы заморозить живой исторический процесс. Совершенно неважно, как он сам себя понимал, так как ни он, ни среда, к которой он принадлежал по воспитанию и направлению, не блистали интеллектуальными качествами. Силу Сролика составляла именно его скромность.

Впрочем, я не настаиваю на всем сказанном. Рукопись о Сролике встретила решительный отпор со стороны именно тех лиц, на воспоминаниях и свидетельстве

которых она была построена. Она разделила судьбу портретов, которые не удовлетворяют заказчиков и возвращаются ими художнику, обманувшему ожидания. — „Портрет не похож“ сказали мне: „Сролик совсем не был таков“.

Возможно. Но, в таком случае, каков же был Сролик? Я ничего не убавил из того, что мне о нем рассказали его ближайшие друзья. Я только сложил вместе, в одно целое, все, что они рассказали порознь, каждый в отдельности. Возможно ли, что Сролик не был таким, каким они мне его сами изобразили? Каким же он был на самом деле?

Я не был задет отказом. Этот отказ, наверно, имел свои мотивы, свои достаточные основания. Но я был живо заинтересован другой версией, которую могли бы дать люди, лично знавшие Израиля Эпштейна, их собственной версией, каждой поправкой, каждым дополнением, каждой новой чертой, которая могла бы бросить новый свет, углубить перспективу, повернуть под новым и неожиданным углом зрения эту историю нашего современника.

Я ждал годы... но этой версии нет, и как видно, не будет. Сролик поконит в молчании. Он похоронен окончательно. Бледнеют воспоминания, и скоро некому будет поправить меня.

На днях я видел портрет Сролика в музее еврейского мятежа. Музей или выставка мятежа — это странное словосочетание. Там поместили его портрет на фоне взорванной стены британского посольства в Риме. Была ли это правильная перспектива? Он не имел прямого отношения к этому взрыву. Он только заплатил за него своей жизнью. С равным правом можно было бы поместить его портрет на фоне варшавского гетто, на фоне Треблинки и Освенцима, на фоне неизвестных могил Сибири и Воркуты. На фоне всего нашего страшного времени.

Но для меня Израиль Эпштейн еще не умер. Он медлит на черте между прошлым и настоящим, на той черте, которая дразнит и беспокоит, как напоминание и предвестие сразу. Вот, кажется, он близко, черты его лица, только вчера виденные, еще зыблются в памяти, еще он дорог кому-то, как плоть и кровь, еще приходят люди, знавшие его, на поминки в каждую годовщину его смерти.

Но я не люблю этих поминок о том, кто еще не совсем умер, как не люблю всякого слишком раннего подведения итогов и сведения счетов. Смените имя, взгляните лучше: колесницы Ахава еще стоят на израильской земле, стены гетто валяются в прах, враг не ушел, это все тот же враг под разными именами, и мы все те же — под разными именами. Эта еврейская повесть никак не кончается... как и моя рукопись, прерванная посредине.



Памятник в Милане, открытый 9 января 1949 г.

